

ВСЕТИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

АЛЕКСЕЙ ЧАПЫГИН

РАЗИН СТЕПАН



Всемирная история в романах

Алексей Чапыгин

Разин Степан

«ВЕЧЕ»

Чапыгин А. П.

Разин Степан / А. П. Чапыгин — «ВЕЧЕ», — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4484-7688-4

Вторая половина XVII века. Женится удалой Степан Разин на красавице Олене, но не суждено ему с ней многие годы жить-поживать да добра наживать. Прославится Разин другими делами: соберет войско из бедного и обездоленного люда, а затем поведет это войско воевать за правду, как он ее понимает, и за вольную жизнь. Взбаламутит южнорусские земли и даже против самого царя выступит, объявит поход на Москву. Все знают, чем закончился поход и как наказал разинцев царь Алексей Михайлович, но мастерство писателя-классика Алексея Чапыгина, в свое время высоко оцененное Максимом Горьким, заставляет забыть о том, что речь идет о хорошо известных исторических событиях. Роман, написанный живо и ярко, будто переносит читателя в те далекие дни.

ISBN 978-5-4484-7688-4

© Чапыгин А. П.

© ВЕЧЕ

Содержание

Об авторе	6
Часть первая	8
Москва	8
1	8
2	11
3	15
4	19
5	21
6	22
Соляной бунт	27
1	27
2	29
3	30
Войсковая старшина и гулебщики	33
1	33
2	37
3	43
4	45
5	47
6	49
7	51
8	53
9	56
10	58
11	60
12	62
13	63
Москва боярская	66
1	66
2	71
3	74
4	78
5	82
6	84
7	88
8	90
9	91
10	93
11	96
12	97
13	100
14	102
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Алексей Чапыгин Разин Степан



Алексей Павлович Чапыгин

Об авторе

Биография известного писателя-историка Алексея Павловича Чапыгина с самого начала складывалась особым образом, будто увлекая автора на путь создания романа о Степане Разине, о «бунташиом» XVII веке.

Родился автор в 1870 году в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, то есть на русском Севере, который издавна является хранилищем национальной культуры и народных языковых богатств, так пригодившихся Чапыгину. Искусным сказителем был дед автора, старый севастопольский солдат, знавший множество былин и сказок, поэтому неудивительно, что в «Разине Степане» есть элемент былинности.

Формированию Чапыгина как автора способствовало и то, что суровая северная природа невольно воспитывает сильные характеры, способные противостоять тяжёлым условиям жизни. Такие характеры мы видим в романе, ведь среди людей, закалённых трудностями, Чапыгин провёл детство.

«Суровые условия жизни, – писал он в книге воспоминаний “Жизнь моя”, – учили меня, приучали к работе. В труде наконец я научился находить наслаждение, а в праздности – скуку». Чапыгин пастушил, охотился, участвовал во всех деревенских работах, и это сблизило его с природой, научило восхищаться ею. «Особенно радостно мне вспоминать среди всяких огорчений пастушеской жизни белые ночи севера», – позднее признавался автор.

Природа и люди родных мест глубоко вошли в творчество Чапыгина, и даже тогда, когда он станет городским жителем, не прервется его связь с малой родиной: он часто наезжал в родные северные края и жил там подолгу.

...Тем не менее с 1883 года и до последних дней жизни (писатель умер в 1937 году) судьба Чапыгина оказалась связанной с Петербургом – Петроградом – Ленинградом. Тринадцатилетний подросток приехал в этот город, чтобы выйти «в люди», и в итоге попал в живописно-малярную мастерскую. Пять лет будущий писатель проходил в ней суровую школу ремесла и в 1888 году наконец получил звание подмастерья живописно-малярного цеха. Следующие полтора десятка лет он малярным ремеслом добывал себе пропитание и, даже начав писательскую работу, не оставлял занятия, которое его кормило.

Благодаря этому опыту Чапыгин хорошо узнал жизнь городских работяг, угнетённых, занимающихся тяжким трудом, существующих в страшных условиях, бесправных и прозябающих. Будущий автор увидел, как зреет в этих людях протест, и это тоже помогло ему в написании своей главной книги – книги о бунте.

Эту же жизнь показали первые рассказы Чапыгина, когда в 1903 году он при поддержке Н.К. Михайловского и В.Г. Короленко заявил о себе как литератор.

Позднее публикуется сборник «Нелюдимые» (1913), появившийся после того, как Чапыгин, вкусив городской жизни, надолго уехал на родину, в Поонежье. Новый цикл рассказов связан с жителями каргопольских лесов – крестьянами, охотниками, таежниками.

Наряду с изображением острых социальных коллизий, переживаемых героями, живущими под гнетом мироедов, Чапыгин раскрывает большую и относительно новую для русской литературы тему – человек и природа; охотник и дикий зверь. Природа почти всегда выступает в прозе Чапыгина как сила, противостоящая человеку. И сам человек в противостоянии с нею порой становится как дикий зверь. Жизнь в единоборстве с природой делает его сильнее, закаляет, но и ожесточает.

С этим богатым и во многом новым для русской литературы материалом связаны наиболее крупные предреволюционные сочинения Чапыгина – повести «Белый скит» (1912) и «На Лебяжьих озерах» (1918).

Герой «Белого скита» Афонька Крень – характер, который так или иначе всю жизнь привлекал писателя. Этот персонаж – борец, искатель правды, человек смелый, решительный, идущий в бой с душой нараспашку и в то же время ослепляемый яростью, наивный, беспомощный перед коварством и предательством.

Этот же человеческий тип, но будто раздвоившийся, изображен Чапыгиным в повести «На Лебяжьих озерах», события которой разворачиваются на фоне предреволюционной русской жизни. Один из персонажей – охотник Ваган, живущий в согласии с природой, чувствующий в себе ее силу, кроткий искатель правды, чистая и светлая душа. Другой – Петруха Цапан, беглый каторжник, не дающий себя обмануть, мстящий за свои несчастья и обиды. В сопоставлении этих характеров писатель хотел выразить сложности национальной психики, показать с разных сторон крестьянскую среду и культуру.

После Октябрьской революции Чапыгин становится в ряды работников новой литературы, новой культуры. В эти годы он много сил отдает созданию двух книг автобиографического характера – «Жизнь моя» (1929) и «По тропам и дорогам» (1930), где рассказывает о своей биографии – начиная с детства и до своей писательской работы в предреволюционное время.

Тем не менее, особое значение для автора в последние два десятилетия жизни приобретает работа в исторической прозе. Событием, имеющим большое значение для отечественной литературы, стало создание выдающегося произведения – эпопеи о восстании казаков и «голытьбы» «Разина Степана».

После завершения этого произведения Чапыгин работал над романом «Гулящие люди».

Избранная библиография автора:

«Белый скит», повесть (1912)

«На Лебяжьих озёрах», повесть (1918)

«Жизнь моя», повесть (1929)

«Разин Степан», исторический роман (1924—1927)

«Гулящие люди», исторический роман (1937)

Часть первая

Москва

1

Бесконечным числом ударов в чугунную доску Москва вторила у боярских и купеческих домов часовому бою Спасских ворот. Часы пробили, но в сумраке часов не видно было. Светились иногда фонари; стучали копыта лошади: то проезжал боярин. В конце лета сумрак густел, часто перепадали дожди. Оттого по кривым и черным улицам полз туман. Местами улицы выстланы тесаными бревнами, отпотевшими и скользкими, словно в черном мыле.

Если где шел человек, то с подорожной бумагой и фонарем. Изредка чернели фигуры стрельцов, осторожно двигавшихся на смену караула в Кремль, с бердышами на плече.

– Дьявол, а не путь! Сколь раз в море бывал, а тут слеп; ужель не попаду? – ворчал человек в бараньей шапке, в длиннополом казацком жупане и шагал со звоном подков, иногда скользил, спотыкаясь о дерево. – Сатана! – Он наткнулся на поперечное бревно-колоду, загородившее улицу.

– Ты, сволочь, должно, в Земском приказе не был? – окликнул человека сторож.

– Я ваших порядков московитских не ведаю, вот дырье в башке умею сверлить! – Сверкнул пистолет.

Сторож отшатнулся, а человек, согнув широкую спину, пролез под колоду, выпрямился и спешно пошел дальше.

Напуганный пистолетом сторож опомнился, крикнул:

– Черт! Чтоб те ноги, ребра изломили...

Подошел другой:

– Ты пошто пропустил?

– Да вишь, шиши со Пскова по Москве бродят, должно, воровской казак, – с пистолем, и сабля.

– Ой ты! Сговорился бы: кого ежели ограбит, чтоб доля нам.

– Спужал, тряса его бей! Глаза горят, как у волка.

– Эх ты, баба столетняя!

Посредине обширной площади, бесконечной от тумана, на толстом столбе с образом, глубоко врезанным в дерево, мигал огонь негасимой лампы сквозь слюду, вставленную в узорчатую раму. По земле расплывались тени двух человек, а у столба недалеко чернели две фигуры караульных стрельцов. Опершись на обухи бердышей, стрельцы, видимо, дремали под монотонный, жалобный голос, исходивший от земли:

– Ой, батюшки! Могильные черви точат мою грудь, и губят за что меня судьи неправильные?! Да ведь муж-от мой аспид был! Под ногти мне тыкал иглы каленые... Волосьев половину выщипал. Сам порченой, и жонку ему оттого не надобно, оттого и мучитель был!..

– Ага! – Человек в казацкой одежде глянул по земле, увидел зарытую по плечи женщину с растрепанными волосами.

От звука шагов один стрелец поднял голову:

– Эй, ты, человече!

Он повернул бердыш топором к земле и крепко взялся за рукоятку.

– Кой бес тебя несет сюда?! – крикнул второй.

– Свой я вам! Чего бьете сполох?

- Есть вас своих!
- Свой, соколы! Выпить вам ташу.
- Что ты за человек?
- Видать, заезжий. Там ужо вспорют – узнаешь, за какими песнями в Москву ездят.
- Разберемся!
- Человек, сдвинув баранью шапку на затылок, вытащил из-за пазухи глиняную посудину.
- Оно не худо пить, только, мотри, не отравное?
- Пошто мне вас изводить?
- Стрелец приложился к горлышку посудыны, другой, жадно причмокнув, сказал:
- Оставь, не все тяни!
- Ух, пей, брат! Не на кружечном, без уловной деньги¹.
- Ой, тошнешенько-о! Не видать младеньке боле ясна солнышка-а... калена-бела месяца-

а!

- Убила мужа, дак молчи, чертова жонка! – крикнул стрелец.
- Человек в казацкой одежде сказал:
- Други, а може, муж стоил того?
- Кто спорит, – може, и стоил, да дело не наше!
- Чего сам не пьешь?
- Хватит и мне, еще есть.
- Давай, парень, коли што другую!
- Да уж зачал чествовать, не скупись, а то, вишь, туман, знобит...
- Лето нынь скудное – дождей, дождей...
- Натe, дуйте!

Выпивая, стрельцы рассуждали:

- И как ты, детинушка, не боишься ходить?
- Молодой, вишь, да зубастой!
- У нас на вольном Дону никого не бояться.
- Мы от дедов стрельцы, да того...
- Бойтесь?
- Не так чтобы...
- Ино не на вас ли, братья-соколы, бояре воду возят?
- Ужо время приспеет – тряхнем бояр...
- До поры в терпенье!..
- Ой, а долга ли та пора?
- При-и-дет!
- Мы и нынче ни черта не боимся!
- Не бойтесь?
- Не...

Один из стрельцов ударил себя кулаком в грудь.

- Глянь на меня, вольной детина, вот я не боюсь ни сатаны, ни патриарха, ни бояр...
- Ой ли?
- Вот бог – и хрест!
- Ну, брат-сокол, хвалишься!
- Не хвалюсь, башка!
- А чем докажешь зарок?
- Чем хошь!

¹ Уловная деньга – плата за водку в кабаке, – иначе – напойные деньги. (Здесь и в дальнейшем примечания в сносках принадлежат автору.)

Стрельцы захмелели.

– Не бойтесь, так отроем эту жонку, в кабак сведем, сами выпьем и ее обогреем.

– А, пропади все, – отроем!

– Нет, то, детина, не ладно! Какие же мы сторожи?

– Вот, братья-соколы, и не бойтесь, а трусите!

– Нет, тут честь стрелецкая горит!

– Что тут горит? К жонке в сторожи приставили! Честь.

– А и то правда, отроем!

– Сами куды?

– В кабак!

– Откопаем жонку!

– А чем?

– Эво! Бердыши в руках, да я саблей подмогу.

– Мочно!

– Рой!

Подожли, отрыли женщину и за руки выволокли из ямы.

– Еча, парень, нагая?

– Ништо! Обряжу в жупан, сам пройду в зипуне. Держи одежду, жонка!

– Головы у детины, хошь в попы ставь!

– А жонка – с икрой!

– Грудастая...

– Э-эй, черти-и!

Голос зычно плыл по площади.

– Ой, мать твою перекасти поле – пятидесятник!

– Батоги нам!

– Кнут! Чего делать, в обрат копать жонку? Увидит.

– Не копать, соколы: вы жонку пасите, я с боярскими детьми хорошо лажу.

– Иди, детинушка, – веди сговор, угомони черта!

– Э-эй, стрельцы!..

В ответ шаги и голос:

– Тут я!

– Ты тут, драный козел твою перелечу! А где другая сволочь?

– На месте стоит!

– А ты, щучий сын, пошто без бердыша, пошто не в сукмане?

– Сабля при бедре, – зипун на плечах!

– Вон ты что-о?! Эй, стра-жа-а!..

В сумраке сверкнуло лезвие сабли. Слово «стража-а» не окончено. Тело начальника осело к земле и распалось на два куска.

Детина вернулся к стрельцам.

– Куды он делся? – спросил один.

Другой засопел и громко, как бы про себя, сказал:

– Так-то не ладно!

– Чего не ладно?

– Начальника посек! Понял? Мы в разбое...

Другой, еще более хмельной стрелец захихикал, закашлялся, потом отдышался, сказал:

– Начали сечь, – туды ему сатане и дорога! Дай посекем в куски!..

Приволокли подтекающее кровью половинчатое тело начальника к огоньку образа.

– Матерый, черт! И как ты его, вольной, мазнул? Не всяк мочен такое...

– Одежу вниз! Секите его на куски да в яму замест жонки – и в кабак.

- Вот те хрест, в попы тебя, казак, – голова-а!
- Дальше попа не видал? Я, може, в патриархи гляжу!
- Хо-хо-хо. Сатана-а!
- В па-три-архи-и?!.

Языки и руки стрельцов худо слушались. Казак, как говорил, сделал все. Почили.

Сторожа на росстанях улиц снимали перед ними бревна-колоды. В иных местах отпирали решетчатые ворота, спрашивали:

- Куды, служилые?
- Воров в Земской приказ?
- Мы сами воры-ы!
- Чого рот открыл до дна утробы? Тише-е!
- Начальника-то, а-а? Кровь на тебе, и я в кровях...

Казак остановился:

– Вам, братья-соколы, дорога на Дон, утечете, – на Дону много вольных сошлось, – там рука боярская коротка.

- А ты?..
- Я оттудова и туды приду!
- Врешь!
- Давай, Дема, поволокем его с жонкой в Разбойной?
- В Разбойной? Пойдем! Руки, вишь, у меня в крови...
- Вот вам еще водки! Пейте, загодя, спать, а утром знать будете, что делать.
- Водку? Давай!

Падая и подымаясь, с лицами, замаранными кровью, стрельцы пошли вдоль улицы. Казак потянул одетую в жупан женщину в переулок, выглянул из-за угла. Стрельцы про них забыли – шли, падали и, поднимая один другого, шли дальше.

– Веди, жонка! Спасайся от могилы! – плотнее запахивая женщину в жупан, сказал казак.

Женщина дрожала, едва держалась на голых ногах, черных от грязи и холода. Сверкнули белым жестяные главы многочисленных церквей. Где-то зазвонили. Загалдел народ; на ближайших рынках, словно на пожаре, зашпорили и закричали женщины, торгуя холст и нитки. Берстовые и тесовые крыши на неопрятных домишках все яснее и пестрее выделялись.

- Будь крепче! Идем, кабаки отперли.
- Иду, голубь-голубой... Иду, а тяжело идти...

2

Кабак гудел. Широкая дубовая дверь раскрыта настежь... Едкий воздух сивушного масла, спирта, потных тел, подмоченных лохмотьев и рубищ не давал дышать непривычному к кабацким запахам. Светлело в бревенчатой обширной избе с заплеванными стенами и чавкающим от грязи земляным полом. За стойкой на стене висела желтая бумага с черными крупными буквами. В стороне в железном подсвечнике на ржавом кронштейне горела оплывшая сальная свеча, мутно при утреннем свете скупым огоньком пятная бумагу. Каждый, кто смотрел на бумагу, мог прочесть:

«По указу царя великого князя Алексея Михайловича всея Руси и великия и малыя – питухов от кабаков не отзывать, не гоняти – ни жене мужа, ни отцу сына, ни брату, ни сестре, ни родне иной, – покудова оный питух до креста не пропнется».

Казак по-особому зорко оглянул обширный сруб с курным, как в овине, бревенчатым потолком. Его взгляд скользнул в глубину кабака, где за перерубом с распахнутой дверью выглядывала без заслона с черным устьем большая печь.

Казак высматривал истцов². Лицо его стало спокойно, он повел широким плечом, положил на стойку деньги:

– Косушку и калач!

Женщина задремала, вскинула сонными руками, казак поддержал ее, но жупан распахнулся, и голое плотное тело, запачканное землей, открылось. Целовальник, косясь на саблю казака, на окровавленные руки, подал откупоренную косушку, положил калач, густо обваленный мукой.

– Где экую откопал?

Женщина вздрогнула и, схватив было, уронила калач. Казак нахмурил густые брови, но спокойно ответил:

– Пропилась, – лихие люди натешились да раздели... Подобрал, вот, вишь, согреваю...

Целовальник сощурился, недобрый голосом прибавил:

– Спаси бог! Житья не стало от лихих людей. Почесть что ни ночь Москва горит...

Сквозь слюдяные, проткнутые во многих местах окна чирикали воробьи, слышался звон и громыхание каких-то тяжелых вещей, которые не то катили, не то везли.

– Немчин опять на государев двор пушку тянет...

– Молыть надо: Кукуй³ – подь на Кукуй!

– А не скажу того – кнута пробовал! – шутили в глубине кабака у двери в прируб на бочках, огромных и пузатых, оборванцы-питухи. Они сидели в обнимку с женщинами. Женщины лезли одна к другой и спорили. Целовальник крикнул:

– Драться, жонки, вольготнее на улице!

– А ты там стой! Она у меня Микешку отбила, а Микешка мою кика⁴ спер...

– Ой, ой! Да она, вишь ты, не посацкая жонка?

– Матренка-то? Она, ведомо всем, кабацкая боярыня!

– Ха-ха-ха!

– А кика твоя с жемчугом аль с венисами?⁵

– Кика у меня от бабки!

– Знаю теперь – ха-а-а-рошая... Тут, вишь, братаны, на торгу юродивой Гришка-горб шатается, так он Матренкиной кике непочетное место нашел: носит в портках, а зовет – килой!

– Хо-хо-хо!

– У, ты, образина нехрещеная!

Бочки лежали, иные торчали стоймя, люди за ними были как за колоннами, выходили и вновь прятались. За бочками кто-то тренькал на струнах, а перед бочками тонконогий, черный, в длинном подряснике, подпоясанный рваной тряпицей, плясал поп-расстрига, гнусаво напевая:

Дьякон с дьяконицей,
Дьявол с дьяволицей —
Пономарь кошке
Окалечил ножку!
Кошка три года хворала,
Все кота недолюбала,
Кот упал с тоски.
Перебил горшки!

² Истцы – сыщики.

³ Кукуй – слобода, где жили немцы.

⁴ Кика – женский головной убор.

⁵ Венис – гранат.

Из-за бочек выскочил музыкант, тренькавший на ящике.

– У, ты! Сидел бы там.

Музыкант заюлил, завертелся, загребая рваными полами старой распашницы, видимо, украденной у жены. В прорехе мелькал голый, замаранный смолой зад.

Музыкант колотил по ящику, дергал натянутые на нем струны, подпевал:

Как под ельницею,
Под березницею
Комар с мухой живет,
Муха песни поет.
Ой, спасибо комару,
Что пришелся ко двору,
Ой, спасибо мушке —
Прожужжала ушки!

– Эй, народ! Знаете, что ваши домры да сломинцы⁶ сожгли по патриаршу слову и нынче настроено заказано в кабаках песни играть?

Музыкант перестал плясать, а кабатчику ответил:

– Ништо, батько Трифон! Москва погорит – сам спляшешь.

– Ах ты, голое гузно! Ужо истцы придут, по-иному заговоришь.

Кабатчик выскочил из-за стойки с плетью. Жонки-пропойцы дрались.

Казак потянул женщину за собой. Целовальник разогнал дерущихся, вернулся за стойку. Не видя казака и его подруги, пожалел, тряхнул бородатой головой, икнул, покрестил рот:

– Истцы не идут, а детину с жонкой упустил. Детина – с саблей... кровь на руках, воровские каки-то людишки...

Женщина двигалась, будто во сне. Казак спросил:

– Ты, жонка, ведаешь ли путь?

– Веду, куда надо, голубь-голубой.

Они прошли по шаткому бревенчатому мосту через Москву-реку, пробрались закоулками Стрелецкой слободы. Женщина вела такими местами, где людей или не было, или редкий кто встречался им. Потом она повела старым пожарищем. Через доски с гвоздями, через обгорелые бревна и матицы шагали, спускаясь вниз до земли и вновь подымаясь на бревенчатый завал.

– Не верил тебе, что путь знаешь!

– Ой, голубь, да как мне его не знать? Истомила я – сколь время высидела в яме. Голосила: «Прости, белой свет...» – и не упомяну, что голосила денно и ночью... Ой, да откуда ты сыскался такой? С неба, видно?..

– С земли!.. Дьяк на торгу вычитал, – глянул я, ведут нагую...

В старинном тыне, обросшем кустами обгорелой калины и ивы, женщина отыскала проход. Согнувшись, пролезая, продолжала:

– Не домой тебя веду, голубь, там уловят, а здесь не ведают... Тут мои кои вещи хоронятся, да живет дедко шалой, скудной телом, юродивой...

– Иду, – веди!

Казак задел лицом за плесень тына, рукавом жупана обтер худощавое, слегка рябое лицо.

Женщина спросила:

– Никак головушку зашиб?

⁶ Сломница – кривая труба.

– Замарался – грязь хуже крови...

За тыном широко разросся вереск. В самой гуще вереска стлалась почти по земле уродливая длинная хата. На пороге, на краю входа вниз, сидел полуголый старик горбун. На грязном теле горбуна, обмотанном железными цепями, висел на горбатой груди железный крест. Горбун не подвинулся, не шевельнулся, но сказал запавшим вглубь голосом:

– Ириньца? С того света пришла, молотчого привела. А не прикажут ли вам бояры в обрат идти?

Он растопырил костлявые ноги, мешал проходу.

– Ой, не держат ноженьки! Двинься, дедко!

Горбатый старик подобрал ноги.

Казак с женщиной вошли в подземелье, в темноте натыкались на сундуки-укладки, но женщина скоро нашарила низенькую дверку, в которую пришлось вползти обоим. На глубине еще трех ступеней вниз за дверкой была теплая горница. Женщина выдула огонь в жаратке небольшой изразцовой печки особого лежаночного уклада. Казак стоял не сгибаясь, и, хотя роста он был выше среднего, до потолка горенки еще было далеко.

От восковой свечи женщина зажгла лампадку, другую и третью, перекрестилась, сказала гостю:

– Да что ты стоишь, голубь-голубой? Садись! Вызволил меня от муки мученской! А воля будет лечь – ложись: там кровать, перина, подушки – раскинься, сюды никто не придет...

Сбросила его жупан на лавку и куда-то ушла голая. Устал казак, а в горнице было тихо, как в могиле. Скинув зипун, саблю и пистолет, столкнув с ног тяжелые сапоги прямо на пол, он задремал на перине, поверх одеяла.

Женщина, тихо ступая по полу туфлями, обшитыми куницей, вернулась – прибранная в синем из камки⁷ сарафане, в шелковой душегрее. Густые волосы ее смяты и вдавлены в сетчатый волосник, убранный жемчугом. Она подошла к кровати, тихо-тихо присела на край и прошептала, чтоб не разбудить гостя:

– Спи, голубь-голубой, век тебя помнить зачну... пуще отца-матери ты к моему сердцу прилип...

Казак открыл глаза.

– Ахти я, беспокойная! Саму дрема с ног валит, а тянет к тебе, голубь, прийти глянуть...

– Ляжь!

– Кабы допустил лечь – лягу и приголублю, вот только лампадки задую да образа завешу.

– Закинь Бога! Не завешай – с огнем весело жить.

– Ой, так-то боязно, грех!

– Грех? Мало ли грехов на свете? Не гаси, ляжь!

– Ой ты, грехов гнездо! Пусти-ко... Дозволишь обнять, поцеловать ино не дозволишь?

А я и мылась, да все еще землей пахну.

– Перейдет!

– Все, голубь, перейдет, а вот смертка...

– Жмись крепко и молчи!

– Ужо я сарафан брошу!

– Душегрею, сарафан – все. Целуй! От лишней думы без ума нет проку!

– Родной! Голубь-голубой!

– Эх, Ириньца! Ты – новой разбойной струг... Не попусту я шел за тобой.

– Родной, дай ты хоть ветошкой завешать Бога! Слаще мне будет...

– Молчи, жонка!

⁷ Камка – шелк с бумагой.

3

Проснулся казак от яркого света свечей. За столом под образами сидел голый до пояса юродивый. Женщина исчезла. Казак сказал юроду:

– Ты чего в красный угол сел?

Наливая водки в большой медный кубок, юродивый ответил:

– Сижу на месте... В большой угол сажают попов да дураков, а меня сызмала таковым именем кличут.

– Ну, ин сиди, и я встаю! А где Иринеца?

– Жонка в баню пошла, да вот никак лезет...

Женщина вернулась румяная, пышная и потная, на ней был надет отороченный лисьим мехом шелковый зеленый кортель-распашница, под кортелем голубой сарафан, рубаха шелковая розовая, рукава с накапками – вышивкой из жемчуга.

– Проспался, голубь-голубой, мой ты – голубь!..

– Улечу скоро! – Гость встал, под грузным телом затрещала дубовая кровать.

– Матерой! Молодой, а вишь, как грузишь, – не уродили меня веком таким грузным, – проворчал старик.

– Я вот вина принесла да меду вишневого! А улетишь, голубь-голубой, имечко скажи, за кого буду кресты класть, кого во сне звать?

– Зовут-таки меня Степаном, роду я – издалече...

– Оденься-ко, Степанушка! Чья это кровь на тебе? Смой ее с рученок да окропи, голубь, личико водой студеной... А я на торгу была... Все проведала, как наших стрельцов, что у моей ямы стояли, истцы ищут: всю-то Москву перерыли, да не дознались... Жен стрельецких да детей на спрос в Земской приказ поволокли.

– Бойся, жонка! Тебя признают, худо будет...

– Ой ты, голубь! Жонку на Москве признать труд большой – нарумянилась я, разоделась купчихой, брови подвела, нищие мне поклоны гнут, жонку искать не станут... Будто те собаки в яме съели... И меня бы загрызли, да стрельцы, спасибо, угоняли псов: «Пущай, говорили, помучится».

– Худо, вишь, на добро навело... – проворчал юродивый.

– И слух, голубь, такой идет: жонку собаки растащили, а начальник стрельцкий – вор, ушел сам да стрельцов увел. По начальнику, родненький, весь сыск идет... – Женщина говорила нараспев.

– В долгом ли обмане будут! В долгом – ладно, в коротком – тогда пасись... Ну да сабля точена, елмань⁸ у ней – по руке, кто нос сунет – будет знать Стеньку...

– Ой, да что я-то? Воды забыла! – Женщина ушла, вернулась, шумя медным тазом. В правой руке у ней был кувшин серебряный, плескалась вода. – Умойся, голубь-голубой!

– Эх, будем гулять, плясать да песни играть! Ладно ли, Иринеца?

– Ладно, мой голубь, ладно!

– Вот и кровь умыл, – пропадай ты, Москва боярская!

– Уж истинно пропадай! Народ-от, голубь, злобится на родовитых, кои ближни царю, на Бориса Ивановича да на думного дьяка Чистова, на Плещеева, судью корыстного: много народу задарма в тюрьме поморил. Плещеев-то царю сродни, а соль всю нынче загреб под себя – цену набил такую, что простому люду хошь без соли живи...

– Слыхал я это. У тебя, Иринеца, нет ли ненароком татарской одежины?

⁸ Елмань – утолщение на конце сабли.

– Есть, голубь-голубой. С мужем-то моим – неладом его помянуть – одежиной разной в рядах торговали... Ужо я поищу в сундуках, да помню, голубь, что есть она, поганая одежина, и шапка, и чедыги⁹ мягкие с узором.

– Ты жонка толковая!

– Народ-то давно бы навалился на своих супротивников, да только немчинов пугается, – немчин на зелье-пушки востер, а уж, конечно, немчин – не за народ!

– Ништо и немчин! Наливай-ка, жонка!.. Русь надо колыхнуть, вот тогда и немчин в щель залезет...

Пили, целовались, снова пили. Гость поднял высоко голову курчавую. Глаза его стали глубокими и по-особому зоркими:

– А еж меня палачи, истцы да псы разные боярские искать зачнут, тогда, Ириньца, не побоишься дать мне сугреву у себя?

– Молчи, голубь-голубой! Укрою, а сыщут – и на дыбу за тебя пойду.

– Пьем-молчим, жонка!

– Сторговались – в сани уклались, – сказал юродивый. – Хмельным старика забыли тешить?

– Помним, дедо, помним!

В большой медный кубок юродивого казак налил меду.

– Вот оно то, что надоть: и сладко и с ног валит!

– Ты бы, дедко, рубаху накинул!

– Эх, Ириха, под рубахой моей святости не видно, а я еще плясать пойду. Ты, паренек, когда о жонку намозолишь губы, а шея заболит от женских рук, поговори со мной.

– Ладно! – Гость придвинулся к юродивому.

– Дальной ли будешь?

– С Дона... У нас хлеба не пашут, рыбу ловят, зверя бьют и ясырь¹⁰ берут, торгуют людьми да на Волгу из Паншина гулять ездят... тем живут!

– А ты, гость-паренек, когда в атаманах будешь, не давай человека продавать...

– Пошто, дедко?

– Самого продадут... А клады искать любишь?

– Нашел, вырыл, вот, вишь, клад, – казак похлопал женщину по широкой спине.

– Этот клад поет в лад, а в лад не войдет, мороз по коже пойдет, – она у меня с норовом...

Ты казну ежели золотную, жемчужную альбо серебряную похощешь, то скажу я тебе о травах цветных, сиречь подосельному – о кринах черлених и белых...

– Любопытствую, дедо, скажи!

– Так вот чуй: есть скакун-трава, растет на надгробных местах, ростом высока, цвет голуб, кольцами; весьма для клада гожа. Завернуть сию траву в тряпицу, она сама раскрутится и скочит, а вертеть ее надо на поле: куда трава скочит, там огонь возгорится, тут и клад рой...

– Мой клад, дедо, вон на лавке лежит, – в чудеса я не верю, саблей добуду жемчуг, золото и жонку.

– Али тебе не сказывать дальше?

– Нет, ты говори – слушаю.

– Ну так чуй! Есть трава хмель полевой, растет при болотах, на ей шишки желтые, только цвет отличен от хмелевого, что в хмельнике... Ежели истолкешь в порошок семя тех шишек да в вине ли, в пиве изопьешь, – сколь ни пей, пьян не будешь...

– Упомнить, дедо, потребно цвет тот, – люблю пить хмельное.

⁹ Чедыги – мягкие сафьяновые сапоги.

¹⁰ Ясырь – пленник.

– Помни, гостюшко удалой, от mnogой той семени испитой человек в остатке бывает не хмелен, но зело буен и смел: в огонь, воду и на нож идет...

– Упомнить надо тот цвет: «растет при болотах, на нем шишки желтые...»

Женщина, выпивая чашу меду и опрокидывая ее пустую себе на голову, сказала:

– Иной раз на улице или в церкви дедко такое заговорит, что страшно: того гляди, истцы привяжутся и поволокут...

– Меня волокли да спушали, чтут за скудного умом... Чуй еще: есть трава, зовомая воронец, цветет на буграх, на брусничниках в густых лесах, мелка, зело тонка и видом чиста... Лапочки на ней и иглы зеленые, ствол суковатый, коленцами; на тое травине ягодки зеленые, когда и черные бывают... Пить ее отваром тому, кто кровию порчен, еже у кого глисты, змеи, жабы и иные гады... Все из нутра утробы вон изгонит. А може, краше будет тебе о планидах сказать?

– Все, что знаешь, дедо, говори!

– Было время, шестикрыльную книгу я чел, жидовина Схари и иных мудрых речения и письма их еретичные, числа исчислял по маурскому счислению и по звездам, кои описаны, гадал, а вычитал я в тых книгах, что земля наша, кою чтут патриархи и иные отцы православия, яко долонь человеков, гладкой, – кругла, что небо будто бы не седми, не шти, не пять и не дву-три не бывает, что небо сие едино и земля наша кругла, а небо шар земли нашей объяло, справа, слева, внизу и вверху, что якобы земля наша вертится... Но мотри – сие говорю только тебе, ибо ты мне, как и Иринице, по душе пал... иным боюсь. В срубе сожгут мое худое телесо древнее, да огню его предать – не изошло тому время...

– Еретичный, умолкни! – крикнула женщина и застучала чашей по столу, из чаши полился мед...

– Буйна ты, Ириница, во хмелю, зело буйна, – умолкаю...

– А я говорю: сказывай, дед! То, что попы претят говорить, надо говорить, и, может, большая правда в тех жидовинных книгах есть!.. Знать все хочу... хочу все иконы чудотворные оглядеть и повернуть иной стороной – к тому я иду и попов неправедных, как и бояр, в злобе держу.

– Знать все надо, гостюшко! – Юродивый был пьян, но, странно, во хмелю обострялся его мозг, и говорил он без запинки. Он стучал костлявым кулаком в горб, тряслась его жидкая седая борода, звенели вериги на тощем коростоватом теле, а на горбе прыгал железный крест. – Надо знать – и вот за сие на костер готов идти, – знать все мыслю!.. И может, как указано в еретических письменах, земля наша станет в веках белой и хладной, яко луна, а луна – тоже шар крутящийся, и шар сей ледяной... И звезды есть, гостюшко, величины необозримой, и каждая звезда – шар, и все... все оно вертится, сменяя свет тьмой и тьму светом, и ветры и бури...

– Горбун! Окунь столетний! Он – мой голубь-голубой. Степа, ты ведь мой?

– Твой, Ириница, – с тобой я твой!

– Снеси меня на постелю.

– Сиди!

– Снеси, говорю! Или сорву с себя платье, нагая побегу по Москве и буду кричать: «Я та, которую он взял от червей могильных, я та, и он тот, кого я люблю больше света-солнышка!..» Степа, снеси...

– Не вяжись, Ириница! Дед говорит, я хочу знать...

– Она помеха и буйна. Сполни, не отстанет...

Казак встал, поднял женщину, разомлевшую от водки и меда, снес, положил на кровать.

– Ляжь – побью!

– Бей! Люблю... бей, а побьешь – сзади побегу, битой любимым еще слаще любить.

– Усни – приду скоро!

Ушел, а женщина примолкла и, видимо, спала.

И странно, когда гость прошелся по горенке, у него стало от хмеля мутиться в голове, ясные глаза налились кровью, а большая рука легла на рукоять тяжелой сабли. Перед ним кривлялся маленький седой горбун, на нем позвякивало железо. Казак забыл, что еще так недавно слушал горбуна, который сидел и говорил ему неслыханное; он топнул тяжелым сапогом и повелительно крикнул;

– Пляши, сатана!

Юродивый завертелся по горнице, горб его, подбрасывая крест, ходил ходуном, моталась седая борода, каким-то ржавым голосом старик напевал:

Жили-были два братана,
Полтора худых кафтана,
Голова на плахе,
Кровь на рубахе.
Мясо с плеч
Стали сечь!
Ой, щипцы да клещи,
Волоса да кожа, —
Неугожа в крови
Покосилась рожа!
Зри-ка, жилы тащат,
Чуешь? – кости трещат.

И тихо-тихо продолжал:

Две сулицы...
Три сафьянных рукавицы...
Дьяк да приказной,
Перстень алмазной...
Чет ударов палача —
Бьют с плеча!
Сруб-от в мясе человечьем,
Тулово с увечьем...
Кости, кости, —
Ворон летит в гости.
Кровью политый воз,
Под пятами навоз,
Идут в кровь, как в воду, —
Честь сия от бояр народу!
Аминь...

– Дьявол! Худо пляшешь!.. – Гость было сбросил саблю на скамью, выдернул ее из ножен, и тяжелые сапоги с подковами лихо застучали по горнице. Он свистел, припевая:

Гей, Настасья,
Эй, Настасья,
Отворяй-ка ворота!
Распахни и со крыльца
Принимай-ка молодца!
У тебя ль, моя Настасья,

У тебя ли пир горой,
Воевода под горой.
До полуночной поры,
Гей, точите топоры!..
Воеводу примем в гости,
Воронью оставим кости...
Ай, Настасья!
Гей, Настасья!..

Вторя свисту казака, сабля посвистывала, описывая круги. Старик испугался блеска сабли и разбойных посвистов, залез под стол. Казак, сделав круг по горнице, приплясывая, вернулся к столу. Неожиданно тяжелая рука с саблей опустилась на стол. Дубовый стол, разрубленный вдоль, зашатался и крякнул, доска распалась от удара – сабля глубоко врубилась в прочный дубовый столешник. От треска, стука и звона посуды, брызнувшей искрами со стола, проснулась пьяная женщина, приподнялась на постели, спросила:

– Дедко, где звонят?..

Испуганный юродивый, привыкший к шуткам, не мог не пошутить, ответил:

– У Спаса, Ириньца!

По полу валялись огарки сальных свечей и дымили; колеблясь, светили только лампадки у образов.

Притопнув ногой, казак с размаху воткнул саблю в стену, сабля, сверкая, закачалась. Сам он сел на скамью, тер лоб и ерошил кудри. Старик выполз из-под стола, собирал огарки свечей, битую посуду, яндовы и чаши. Сдвинув разрубленную доску, расставил посуду; заглянул в кувшин с медом, устоявший и целый:

– Оно еще есть чем кружить голову и сердце бесить... – И робко сказал гостю: – Я, гостюшко, такие песни не мочен играть...

Гость сидел, свесив голову, рвал с себя одежду, бросал на пол. Старик осторожно, как к хищному зверю, подполз, стащил с гостя тяжеленные сапоги, приговаривая:

– Водки, вишь, на радостях глупая жонка добыла с зельем табашным... Бьет та водка в человеке память.

Казак встал тяжелый, глаза потухли, а рот на молодом лице кривился, и зубы скрипели. Старик быстро исчез с дороги. Казак прошел и рухнул на кровать. Юродивый прислушался. Казак, приказывая кому-то во сне, громко засвистал.

– Пала молонья, гром прогрянул...

Старик нашарил дверь из горницы, но скоро вернулся, и его валеные тупоносые уляди¹¹ прошамкали в прежний угол: он сел допивать уцелевший мед.

– Эх, молодец-молодой, грозен! Да не тот жив, кто по железу ходит, а тот, вишь ты, жив, кто железо носит... Из веков так.

4

Сумеречно и рано. Перед Кремлем в рядах идет торг. Стоят воза со всякими товарами. Площадной дьяк с двумя стрельцами ходит между возов в длиннополой котиге¹², расшитой шнурами; на голове бархатный клобук, отороченный полоской лисицы. Дьяк собирает тамгу¹³ на царя, на церкви и часть побора с возов – на монастыри. Звенят деньги.

¹¹ Уляди – полуваленки с разрезом спереди и со шнурками.

¹² Котига – кафтан, только иного покроя и шире.

¹³ Тамга – сбор с товаров.

Впереди рядов, ближе к Кремлю, палач – в черной плисовой безрукавке, в красной рубахе, рукава рубахи засучены – приготовился сечь кнутом вора.

Преступник в синих крашенных портках, без рубахи стоит пригнувшись, дрожит... В ранней прохладе от тощего тела, вспотевшего от страха, идет пар. На впалой груди на шнурке дрожит медный крест.

– Раздайсь, люд! – кричит палач, бородатый парень, которого еще недавно видели приказчиком в мясных рядах. Он неторопливо сдвинул на затылок валеную шляпу, зажал в крепких руках, почерневших от крови, кнут и передвинул крепкую нижнюю челюсть: зашевелилась окладистая борода. Ворот рубахи у палача расстегнут, виднеется на широкой волосатой груди шнурок креста. – Ты, голец и тать, спусти из себя лишний дух!

Палач шевелит кнут, распутывая движением руки на конце кнута кисть из воловьих жил.

– Тимм! Тимм! Тимм! – звенят в воздухе литавры.

Народ расступается, иные снимают шапки:

– Боярин!

– Царя с добрым днем чествовать!

– Эй, народ, – дорогу!

Через площадь проезжает боярин, черная борода с проседью. Боярин бьет рукояткой кнута в литавры, привешенные к седлу; лицо мрачное, на лице густые черные брови, из-под них глядят круглые ястребиные глаза; он в голубой бархатной ферязи, от сумрака цвет ферязи мутно-серый, на голове клубок, отороченный соболем.

Боярина по бокам и сзади провожают холопы. Огонь факелов колеблется в руках челяди, мутно отсвечивая в драгоценных камнях ферязи боярина и на жемчугах, заплетенных в гриве коня.

– Воевода-а!

– То кто?

– Князь Юрий Олеksiевич!

– Ен Долгоруков – тот?

– Тот, что народу не любит...

– С дороги, людишки!

Свищет кнут... После десяти ударов преступник шатается. Кровь густо смочила опушку портков.

– Стоя не осилишь – ляжь! – спокойным голосом, поправляя рукава распутившейся рубахи, говорит палач.

Преступник охрип от крика: он покорно ложится, ослабел и только шевелит губами. Бородатый дьяк с гусиным пером за ухом, обросшим волосами, как шерстью, с чернильницей на кушаке, считая удары, подал голос:

– Полно-о!

Подвели телегу. Помощник палача в черной рубахе, перетянутой сыромятным ремнем, поднял битого, взвалил на телегу. Преступник моргает слезливыми глазами и чавкает ртом:

– Пи-и-ть...

Палач делает шаг, не глядя, грозно кричит на толпу:

– Раздайсь! – и щипцами откусывает преступнику правое ухо.

Тот, не чувствуя боли, шепчет внятно:

– Пи-и-ть!..

Дьяк машет мужику в передке телеги, говорит битому:

– Не вору! Левое ухо потеряешь...

– Поглядели бы, крещеные, что уволок-то парень? Курицу-у...

– Да, суды... тиранят народ!

5

Недалеко от битого места дерутся две бабы. У них в руках было по караваю хлеба. Теперь хлеб затоптан в песок, а бабы, сорвав с головы платки, таскаются за волосы, шатаясь, тычутся в толпу. Толпа науськивает:

- Белобрысая, ты за подол ее, за подол!
- Кажи народу ее подселенную!
- Черная жонка, вали ее, дуй коленкой-то в пуп! В пуп, чертовка, да коленкой, – э-эх!
- А не, робята! Русая забьет. Страсть люблю у жонок зады – мякоть...
- Лакомый, видать, снохач?
- Зады у жонок... я знал одну...
- Беги!
- Площадной дьяк!
- Не кусит! Чего бежать?

Дьяк со стрельцами подходит не торопясь. Бабы лежат, лежа, держат одна другую за волосы, плюются и языки высовывают.

- Эй, спустись, кошки!
- Бабы не спускаются. Дьяк говорит стрельцам:
- Берите-ка на съезжую!

Бабы вскакивают, подбирают волосы, одергивают сарафаны. Одна, тощая, с желтым лицом, кланяется:

- Господине, дай молыть?
- Ну?

– Да как же, господине, она моему мужу передом, все передом угобжает – без ума мужик стал!

Другая тоже кланяется:

– Господине дьяче, она жена ему постылая, на всех лжет, а у самой жабы в брюхе квачут и кулькают. Чують ее страшно, болотной тинной смородит, икота у ей завсегда...

- Ах ты сволочь, перескочи твою утробу! Да я тебя...
- Вот, господине дьяче, вишь кака она привязучая!
- Робята, разведите их дале врозно да в зад коленом, – говорит стрельцам дьяк и идет в толпу, громко выпуская из себя газы.

– Будь здоров, дьяче! – слышится голос.

Дьяк отвечает строго, чувствуя насмешку:

- Поди, постов не блюдете? А я блюду – с редьки это у меня по брюху ходит.

Он обошел ряды возов и, не видя того, с кого можно взять тамгу, исчез. Толпа шатающихся праздно прибывает. В толпе появился татарин. На худощавом рябом лице горят зоркие глаза; татарин – в синей ермолке, в серой чалме, в желтом бархатном зипуне, в зеленых чедыгах с загнутыми носками, с мешком в руке.

- Купим соли, урус? Купим соль! – и трясет мешком.

Народ лезет к татарину, покупая, дивится, что дешево:

- Да где ты добыл, поганый, соль?

Татарин запускает в мешок большие руки, пригоршнями мерит соль, а берет за фунт грош...

– У нас на Казань нет бояр, нет Морозов, нет Плещеев, на Казань соль три пригоршни – грош... А был на Казань князь, татарский князь, соль дорожил – народ не давал, рубили ему башка, соль дешев стал!..

- Православные, ино татарин правду сказывает!

- Кабы Плещееву завернуть голову, то соль была бы...
- Морозову...
- Морозову заедино!

К татарину протолкались сквозь толпу два человека в длинных сукманах, в черных, похожих на скуфью шапках:

- Пойдем-ка, поганый, с нами!

Татарин на всю площадь крикнул:

- Гей, люди московские! За добро и правду к вам меня истцы берут.
- Пошто? Где истцы?
- Бей псов боярских!
- Гони! Лу-у-пи сатану-у!

Один из истцов быстро выдернул из-под полы сукмана тулумбас¹⁴, но татарин не дал ему ударить сполох. Пистолетом, спрятанным в длинном сборчатом рукаве, стукнул по голове истца – черная шапка вдавилась в череп, истец упал. Другой побежал, призывая стрельцов, но его схватили тут же и, свалив, забили до смерти сапогами. Синяя тюбетейка и повязка свалились с черных кудрей татарина...

Народ теснился на площадь. Ловили и избивали истцов – истцы исчезли.

Кто-то закричал:

- Поганый ты, свой ли, нам все едино – веди на бояр!

Смуглый, в черных кудрях, в татарской одежде, крикнул на всю площадь:

- Народ! Гож ли я в атаманы?!
- Гож! Гож!
- Пойдем – веди-и!
- Веди! Будет им нас грабить!
- Иметь Морозова-а!
- Молотчий, веди-и!..
- К тюрьме-е! Колодников спустим.
- Бояр солить – идем!

6

По Москве во всех больших церквах бьют сполошные колокола. Воеет медный звон, будто тысячи медных глоток.

- Зашевелились попы-ы, на Фроловой башне звон!
- Не бойсь! Стрельцы с нами-и, пушай фролят...
- Морозов усохутился – сбежал!

В Кремле трещит прочное резное крыльцо боярина Морозова. Серой лавой лезет толпа с топорами, с кольсм, с палками. Крепко запертую дверь выдавили плечами. В толпе изредка мелькают лица холопов Морозова.

В расписной сумрачной прихожей с окнами из цветной слюды встретил грозную толпу седой дворецкий в синем доломане, с протазаном в руках¹⁵.

– Куда, чернядь? Смерды, чего надо? – И размахивал неуклюжим оружием. Протазан задевал за стены, плохо ворочался в старых руках. Старик отчаянно закричал: – Боярыня! Матушка! Пасись беды...

- Брось матушку, пой батюшку!

¹⁴ Тулумбас – род бубна с вогнутой внутрь чашечкой, обтянутой пузырем.

¹⁵ Доломан – кафтан; протазан – особенного устройства топор на длинной рукоятке.

К старику подскочил крепкого вида ремесленник в сером фартуке, ударил по древку протазана коротким топором, и оружие, служащее для парадов, выпало у дворецкого из рук.

– Пе-ес!

Старик стоял у дверей в горницы, растопырив руки, мешал проходу. Тот же человек схватил старика поперек тела, выбежал с ним на крыльцо и сбросил вниз. Толпа хлынула в горницы. От тяжеловесного топота дрожал пол, скрипели половицы, раздался хряст дерева, стук топоров. Вырвали окна; резные рамы трещали под ногами, слюда рвалась, липла к сапогам.

– Узорочье – товарищи-и!

Разбили крышку ларя, окованного серебром, но там оказались кортели, кики, душегреи. Пихали в карманы, роясь в ларе, боярские волосинки, унизанные жемчугом и лалами¹⁶.

– Во где наша соль!

Все из ларя выкидали на пол, ходили по атласу, а золотую парчу рвали на куски. Кичные очелья били о подоконники, выколачивая венисы и бирюзу.

– Соли, бра-а-таны!

Наткнулись на сундук с кафтанами, ферязями – стали переодеваться: сбрасывали сукманы и сермяги, наряжались наскоро, с треском материи по швам, в ферязи и котыги. Сбрасывали с ног лапти и уляди, обувались в чедыги узорчатого сафьяна, а кому не лезли на ноги боярские сапоги, швыряли в окно:

– Гришке юродому гожи!

Одевшись в бархат, ходили в своих валеных шапках и по головам лишь имели сходство с прежними холопами и смердами. Одни переоделись, лезли к сундуку другие:

– Ай да парень! Одел боярином!

– Отаман – в парчу его обрядить!

– Тут ему коц с аламом, с кружевом!

– Не одержет – чижол!

– Эй, ты! Как тебя, отаман?

– Одейся!

– А ну, нет ли там турецкого кафтана?

– Эво – бери-и! На колпак с прорехой, с запоной.

– Пускай буду я, как из моря, с зипуном...

Иные в толпе не переобувались, ходили в своих неуклюжих сапогах – то были осторожные:

– Ежели бежать надо, так одежду кинуть, а сапоги свои...

Херувимы, писанные по золоту среди крестов, спиралей, голубых и красных цветов, неподвижно глядели на гостей, не бывалых раньше в покоях царского свояка.

– Эй, други-и! Винца ба!

– Соскучал за солью ходить, хо-хо-хо, бражник...

– Сыщем вно-о!

– Гляньте – птича!

– Диковина – лопочет по-людски!

– На кой ее пуп! Не диво, кабы сокол!

Иные обступили клетку тянутого серебра, совали в клюв зеленому попугаю заскорузлые пальцы:

– Долбит, трясогузая!

– Щипит!

– Бобку нашли, младени? Шибай на двор!

¹⁶ Лал – яхонт.

Выбросили клетку с птицей в окно. Коротко сгрудились перед тяжелой дубовой дверью с узорами из бронзы на филенках, нажали плечами – не поддастся:

– Подай топоры!

Стук – и вылетели дубовые филенки.

– Тяни на себя-а!

Дверь сломана – хлынули в горенку, мутно сиявшую золотой парчой вплоть до сводчатого потолка. Окна завешены. На вогнутых плафонах, с узорами синими и красными, фонари из мелких цветных стекол на бронзовых цепочках; в фонарях горят свечи. Под балдахином из желтого атласа кровать, на кровати – растрепанная и очень молодая женщина.

– Сестра царицы!

– На пуп нам ее – тут девки есть!

На низких табуретах, обитых алым бархатом, в головах и ногах боярыни – две девицы, обе русые, в голубых сарафанах. Толпа смыла обеих. Скоро и буйно сорвала с девиц шелковые сарафаны, сбороздила заскорюзлыми руками девичьи венцы с жемчугом, растрепала волосы. Большая боярыня с усилием поднялась над подушками и слабо крикнула:

– Не надо!

– Хо-хо-о! Не будь ты сестра царицы, мы б ты помяли.

Девицы онемели от ужаса, стиснув зубы и закатив глаза, вертелись в грубых руках, падали, но их подхватывали. Тяжелый вошел в горенку, отбросил занавес окна – летнее солнце хлынуло в сумрак. Раздался голос, слышный ранее на всю площадь:

– Зазвали в атаманы – слышьте слово! Девоч насилить – или то работа! Сечь топорами – наша правда!

Послушались голоса. Девиц, помятых, растрепанных, кинули на кровать боярыни, как снопы соломы. Шиблись обратно в другие покои – срывали со стен многочисленные образа, разбивали киоты, сдирали серебряные ризы с лалами и жемчугом. Доски образов кидали в окна.

Атаман остался в спальне. Тяжело ступая, шагнул к кровати. Больная боярыня, закрывшись до подбородка атласным одеялом, сидя на постели, дрожала.

– Слушай! Я тебе грозить не стану – скажи добром, где узорочье?

Морозова подняла голубые глаза и снова с дрожью зажмурилась:

– Отведи глаза, не гляди!

– Глаза?

Он шагнул еще ближе, почти вплотную, и слышал, как, забившись под одеяло, всхлипывали девицы. Одной рукой приподнял Морозову за подбородок, другой тяжело погладил по мокрому от недуга и страха волосам, но в голове его мелькнуло: могу убить?

– Не боярин я... Огнем пытать не стану – добром прощу...

Чуть слышно боярыня сказала:

– Подголовник... тут, под подушками...

– Ино ладно!

Он выдернул тяжелый подголовник, отошел, стукнул, отвернувшись к окну, ящик о носок сапога и, выбрав в карманы драгоценности, пошел, не оглядываясь, но приостановился, слыша за собой голос боярыни:

– Не убьют нас?

Ответил громко на слабый голос:

– Нынь же никого не будет в хоромах!

– Не спялят?

Сказал голосом, которому невольно верилось:

– Спи... не тронут!

За дверями спальни Морозова еще раз слышала его:

– Гей, голутьба! Вино пить – на двор.

Терем вздрогнул – по лестнице покатилося тяжелое. Со двора в окна долетал отдаленный громкий раскат голосов, стучали топоры, потом страшно пронеслось в едином гуле:

– Вин-о-о!

Под землей, в обширном подземелье, подвешены к сводчатому потолку на цепях сорокаведерные бочки с медами малиновыми, вишневыми, имбирными. Сотни рук поднялись с топорами, били в днища:

– Шапки снимай!.. Пьем!..

– А я сапогом хочу.

– Хошь портками пей!

Долбились, прорубались дыры в доньях, из бочек забили липкие душистые фонтаны. Пили, дышали тяжело, отплеывались, скороговоркой на радостях матерились. Иные садились на земляной пол. Кто-то, надрываясь, зычно кричал одно и то же, повторяя:

– Приторомко! Подай водку-у...

– Ставай, пей!

– Здынъ, я немочен!

Липкие фонтаны из сотен бочек продолжали бить. На полу стало мокро, как в болоте; потом хмельное мокро поднялось выше.

– Шли за солью – в меду тонем!

Мокро было уже по колено.

– Бу-ух! Бу-ух!

– Энто пошто?

– Бочки с водкой лупят!

Опять голос, хмельной и басистый:

– Уторы не троньте-е! Днища бей, дни-и-нща!

– Пошто те днища-а?..

– Днища! Или брюхо намочите, а в глотку не попадет!

– Должно, товарищи, то бондарь, – бочку жаль?

– Бей! Хватит водки-и...

Черпали водку сапогами, чедыгами и шапками.

– Пей, не вались!

– У-улю, тону, ро-обяты-ы!..

Хмельной, сырой и пронзительный воздух одурял без питья. Падали в липкое пойло, засыпали, булькая.

В пьяной могиле, как на перине, шутили:

– Пра-аво-славнo-му самая сла-дка-я-а смерть в вине...

В подвале появились люди в серых длинных сукманах, в черных колпачках, похожих на поповские скуфьи.

– Робяты-ы! Истцы zde...

– Бей сотону-у!

Ловили подозрительных и тут же кончали. Какой-то посадский по бедности носил сукман, шапку утопил, стоял на коленях по грудь в хмельном пойле, крестился, показывая крест на шею и руки грубые.

– Схо-о-ж, бей!

– Царева сотона вся с крестами!

Бродили по подвалу, падали, расправлялись топорами, но их расправа кончилась скоро: зеленым огнем запылала одна бочка сорокаведерная, потом другая, тоже с водкой, третья, четвертая, и зеленое пожарище поползло по всему подвалу, делая лица людей зелено-бледными.

– Истцы жгут?

- Лови псов!
- Спасайсь, тащи ноги-и!

Вылезли на двор, но многие утонули и сгорели в подвале. Толпа живых была сильна и буйна. Нашли карету, окованную серебром, сорвали золоченые гербы немецкой чеканки.

- Морозову от царя дадено!
- Царь бояр дарит колымагами, а нас жалует столбами в поле!
- Козой да кнутьем на площади.
- Кру-у-ши!

Изрубили карету в куски. Беспokoясь, пошли из Кремля.

- Убыло нас.
- Посады зазвать надо!

Под горой у Москворецкого моста встретили новую толпу:

- На-а-ши здесь!

Тут же, под горой, стояла кучка людей в куцых бархатных кафтанах, в черных шляпах с высокими тульями, при шпагах. На желтых сапогах длинные кривые шпоры. Кучка людей говорила на чужом языке, показывая то на толпу, то на кабаки, где трещали разбиваемые двери и звенела посуда.

- Die Leute sind barbarischcr, als wie der Turk¹⁷.
- Sktaven, aber hinter der Maske der Sktaven steckt immer der Rauber¹⁸.
- Schaut, schaut¹⁹.
- На, die wollen uns drohen?!²⁰

Сгрудившаяся толпа на Красной площади заревела:

- Робяты-ы, побьем кукуя!
- Царю жалятся, а сами живут за нас!
- За них немало людей били кнутом!
- Меня за кукушу били!
- Меня тоже-е!
- Эн, топоры, зачинай!

Грянул голос:

- Или я не отаман? Народ, немец не причинен твоей беде... Метитесь над боярами!
- Правда!

- Подай судью-у!
- Плещея беззаконного!

– Их, братаны, Гришка-юродивый выметал, метлы ходил – давал, – «чисто мести по морозу плящему»²¹.

- Чистова-дьяка би-и-ть!
- С головой, урод горбатой!

¹⁷ Эти люди больше варвары, чем турки (нем.).

¹⁸ Рабы, но под личиной раба всегда укрывается разбойник (нем.).

¹⁹ Смотрите, смотрите! (нем.)

²⁰ Ого, да они грозят нам?! (нем.)

²¹ Плящий – трескучий мороз, от слова «плясать».

Соляной бунт

1

Набат над Москвой ширится, подымают над старым городом красные облака; жестяные главы на многих церквях стали золотыми.

– Стрельцы тоже по нас!

– Их тоже жмали – метятся!

Нашли палача. Палач не посмел перечить народу.

– Ходил твой кнут по нас – нын пущай по боярам ходит!

Палач пошел в Кремль; за палачом толпа – кто потрезвее. Стрельцы – те пошли во хмелю.

– Подай сюда Плеще-е-ва-а!

– Самого судить будем!

В деревянном дворце царя, видимо, решили судьбу царского любимца.

На обширном крыльце с золочеными перилами стоял матерый ширококостный молодой царь в голубом кабате с нарамниками²², унизанными жемчугом. Близ царя – воевода Долгорукий – в черной бороде проседь, из-под густых бровей глядят ястребиные желтые глаза. Князь одет по-старинному в длиннополном широком плаще-коце, застегнутом золотой бляхой на правом плече. Сзади царя – кучка бояр.

Перед царем, кланяясь в землю часто и униженно, сверкая лысиной, ползал на коленях пузатый боярин с пухлым лицом и сивой бородой. Черная однорядка волочилась за ним, слезая с плеч.

– Государь! Государь! Служил ведь я тебе и родителю твоему – себя не жалел! Попомни услуги, – пошто даешь меня на поругание холопам? Гож я, гож еще! Тоже и буду служить псом верным, и службу где дашь – туда отъеду, и какую хошь службу положи...

Царь отвернулся, молчал.

Сказал Долгорукий резко и громко:

– Вор ты, судья! За службу кара.

– Бью и тебе челом, князь Юрий!.. Молви за меня государю слово, за душу мою постой, а я...

Круглые глаза князя глядели сурово на судью.

– Лазал перед государем с оговором – нын «молви»!

– Ой, князь Юрий! Пошто мне тебя хулить, ой, то ложь, князь!

– Подай сюда Плещея-а!

Долгорукий молодо и звонко сказал:

– Палача сюда!

Плещеев, подавленный, уткнув лицо в полу однорядки, плакал.

На крыльцо поднялся палач. Облапив, понес Плещеева вниз по ступеням, но обернулся, спросил:

– Провожатый дьяк – кто?

– Казни судью! Вина его ведома.

Долгорукий отошел в глубь крыльца.

– Бояре, родные мои, кровные, молю, молю, молю! – кричал Плещеев и, встав на ноги, упирался.

Стрельцы, помогая палачу, пинали Плещеева.

²² Кабат с нарамниками – царская верхняя одежда с наплечниками.

Царь и бояре видели, как волокли Плещеева. Царь плакал. Кто-то из бояр сказал:
– Допустим смерда к расправным делам – не то увидим!

Бояре придвинулись к перилам, глядели, охали, а в это время на крыльцо по-кошачьи мягко вбежал человек в сером сукмане, пал перед царем на колени, заговорил, кланяясь:

– Не осуди, государь! Дай молить слово...

Царь попятился, но сказал:

– Говори!

– Не стрельцы мутят народ, государь, а пришлый детина, коего рода – не ведаю; примечины его – ширококост, лицо в шадрных малых, голос – как медяный колокол!

– Уловите заводчика!

Царь отошел к дверям в сени. Человек в сукмане хотел незаметно юркнуть с крыльца, но его уцепили за полу, из-под полы истца вывернулся и покатился вниз по ступеням тулумбас. Старый боярин в синей котыге с тростью в руке держал истца за полу, шел с ним вниз и говорил:

– Уловите заводчика, справьте государю угодное... В кабаках водку огнем палите – к водке бунтовщик липнет. Да примечайте которого...

– наших, боярин, много посекали бунтовщики в погребах боярина Морозова...

– А за то и посекали, что дураки! Дураков и бить. Киньте сукманы, шапки смените, людишками посадскими да смердами оденьтесь...

Истец хотел идти, но боярин держал его. Старик вскинул волчьи глаза, прислушался к говору бояр и тихо заговорил:

– Ежели ты, холоп, еще раз полезешь на царские очи, то будешь бит батогами, язык тебе вырежут воровской! Твое есть сей день счастье, что палач поганил, по слову Юрия-князя, крыльцо! Иди – ищи.

Не смея нагнуться поднять тулумбас, истец быстро исчез.

– Государь выдал! – крикнул палач, ведя Плещеева.

Много рук подхватили палача и судью за воротами Кремля, а на площади зауhalo тысячей глоток:

– Наш теперя-я!

Толпа бросилась к палачу, на нем затрещала рубаха, свалилась шапка, тяжело придавили ногу. Палач толкнул от себя судью:

– Сторишь с тобой!

Толпа подхватила судью; сверкнули топоры, застучали палки по голове Плещеева.

– В смирной одеже!

– Сатана-а!

– Бархаты, вишь, дома-а!

Платье Плещеева в минуту расхватили, по площади волокли голое тело. На трупе с безобразным подобием головы болтались куски розовой шелковой рубахи, втоптаные в мясо ногами народа.

– А наши дьяка ухлябали!

– Назарку Чистова сделали чистым!

– Тверская гори-и-т!

– Мост Неглинной гори-и-т!

– Большой кабак истцы зажгли!

– Туды, робяты-ы! Сколь добра сгибло-о!

2

В сумраке резной и ясный, как днем, стоял Василий Блаженный. Зеленели золотые главы Успенского собора. Кремлевская стена, вспоминая старину конца Бориса и польского погрома, вспыхивала, тускнела и вновь всплывала, ясная и мрачная.

Раздвинув набухшие, отливающие сизым облака, стояло прямое пламя над большим царевым кабаком.

Пестрая толпа с зелеными лицами лезла к огню. На людях тлели шапки, и казалось, не народ, а бояре выкатывают из пламени дымные бочки с водкой. Народ, в бархатных котыгах и ферязях, бил в донья бочек топорами.

- С огня, братаны!
- Пей, товарищи!
- Сгорит Москва!
- Али пить станет негде?
- Гори она, боярская сугрева!
- Слушь, братья, сказывают, царь залез в смирную одежду-у?!
- Так ли еще посолим!

Пили, как в подвалах Морозова. Дерево на мостовой, политое водкой, загорелось. Горела и сама земля. На дымной земле валялись пьяные. Свое и боярское платье горело на людях. Люди ворочались, вскакивали, бежали и падали, дымясь, иные корчились и бормотали. По ногам и головам лежащих прошел кабацкий завсегда́тай поп-расстрига, плясавший по кабакам в рваном подряснике. С кем-то другим, таким же пьяным, они тащили обезображенный труп Плещеева. Расстрига, мотаясь, встал на головни, на нем затлелась рваная запояска, задымились подолы рясы.

- Спускай! – крикнул он и бросил, раскачав, прямо в огонь тело судьи.
- Штоб ему еще раз сдохнуть! – И запел басом:

Человек лихой...
Дьявол, душу упокой,
А-а-ллилуйя!

- Горишь, отец!
- Был отец, нынь голец!

В стороне, белея кафтаном, в бархатном каптуре стоял широкоплечий казак. Правую руку держал под полой – там была сабля. Он думал: «Эх, сколь народу свалилось, а бояр? Мал чет...» – И, повернувшись, прибавил вслух:

- Ну да еще впереди все!

Широко шагая, шел дымными улицами – ело глаза, пахло горелым мясом. Народ по улицам лежал, как большие головни. Атаман тоже изрядно выпил, но поступь его была тверда. Только душе хотелось простора, и рука сжимала рукоять сабли.

Он был недалеко от знакомого тына, уже ступил на старое пожарище и тут только заметил, что за ним идут три человека стороной.

«Эти не хмельные. Истцы!»

Один из троих подошел к атаману. На нем чернела валеная шапка, серел фартук торговца:

- Эй, слушь-ко, боярской сын!

Атаман сдвинул каптур на затылок, повел глазами.

- Не светло, а зрак твой видной, – не ворочай глазом, я человек простой!
- Чего тебе?

- Ты зряще купил экой каптур – ен морозовской и кафтан турской бога...
- Дьявол!..

Атаман выдернул из-под полы пистолет, щелкнул курок, но кремь дал осечку. Подбежали еще двое. Атаман шагнул быстро к первому, ударил торговца по голове дулом. Парень осел, не охнув.

- А вы? – крикнул он грозно.

Двое бежали прочь.

Атаман гнался долго за двумя и скрипел зубами, но бегали истцы скоро. Он проводил их глазами за Москворецкий мост, вернулся к убитому, поднял его, сунул в яму, в которой когда-то выгорел столб.

Сам не зная зачем, навалил на яму два обгорелых бревна:

- Бревна не на месте, а тут черту крест!

Знакомым путем прошел через пожарище и скрылся в кустах обгорелой калины.

3

За столом на широких ладонях лежит курчавая голова.

Ириньца, в шелковом летнике, в кике бисерной по аксамитному полю, разливает в большие чаши хмельной мед.

- А и что-то закручинился, голубь-голубой? Пей вот!

Атаман поднял голову. Взгляд потускнел, на худощавом лице – усталость.

- Жонка, не зови меня голубем – сарынь я.

- Ой, то слово чужое! А что такое сарынь, милой?

- Сарынь – слово басурманское – сокол, а по-нашему, по-казацки, – коршун!

- Уж лучше я буду звать тебя соколом. Не кручинься, пей, вот так.

– Ух, много пил, – а и крепкий твой мед! Не кручинюсь... Плечи и руки томятся по делу. Много его на Москве, да во Пскове наши играть зачинают... Меня же тянет на Дон.

- Жонка, видно, ждет там? И зачем ты, сокол, такой сладкой уродился?

- Думаешь... приласкаю, а рука за пистоль тянется – убить... Боярыню нын приласкал.

Глаза женщины загорелись злым:

- Змею ласкать? Змея, сокол, завсегда с жигалом!

Атаман, выпивая, обмолвился раздумчиво:

– Есть у меня чутье, как у зверя, и знаю я... убить или простить... Тут надо было так – простить...

- Пей!.. Я нацедила... Вишь ты какой!.. Погоди-ка, чокнемся.

Она потянулась к нему и, чокаясь, сверкнула накалками вышитых жемчугом рукавов, обхватила его за шею, целуясь.

- Не висни, жонка!

- Аль уж не любишь?

- Не лежит душа к любви... Другое вижу... вижу далеко...

– А я ничего не вижу, люблю тебя, как молонью. Страшной сегодня Москву видела, ой, страшная была Москва! И что ты с собой за заветное носишь, что народ за тобой так липнет? Готов был народ все изломить, и Бога и царя кинул. А я бы уж, если б воля была, приковала сокола к моей кровати золотой цепью, перлами из жемчугов опутала бы кудри и не выпустила, не отдала никакой чужой красе, выпила бы твою кровь и тут померла с тобой какой хошь лихой смертью.

- Кинь! То пустое...

– Не пустое, сокол! Голова мутится, сердце горит... Так бы и пошла да предала себя: «Нате, волки, ешьте! Помереть хочу. Нет мне жисти – люблю!»

– Забудь все, – пей!

– Гуляют да пьют, а бояре тут! – хрипел голос из распахнутой двери. На убогих ногах горбун, звеня железом, вполз в горенку.

Рука упала на саблю, атаман вскочил на ноги:

– Эй, старик! Где вороги?

– То, гостюшко, кошуню я! Пустое говорю – нет ни бояр, ни истцов, а вот на торгу висит грамота, и на ней списаны твои приметы, и грамоту чтут люди всякие..

– Ой, дедко, скоро как и грамота?!

– Сам чел, и люди чли, и пьян, и тверез, всяк у той грамоты стоял. А платится за твою голову, гостюшко, цена немалая: три ста рублей московскими, да тулуп рысей, да шапка тому, кто тебя уловит...

– Мекал я, – тут меня дошли?

– Пей, мой боженька!

– Не бог я и богом быть не хочу... Ходил по монастырям, на народ глядел... веру пытал... Верю ли я, не знаю того... Ведаю одно – народ молит Бога с молитвами, слезами да свечами, а кругом – виселицы, дыба и кнут... Богач жиреет, а народ из последних сил тянет свой оброк... от воеводы по лесам бежит... Палачам за поноровку, чтоб помене били, последние гроши даст, а у кого нет, чем купить палача, ино бьют до костей... Пытал я Бога искать, да, должно, не востер в книжечях. Вот брат мой старшой, Иван Разин, чел книги хорошо и все клянет... Не Бога искать время, искать надо, как изломить к народу злобу боярскую.

– Нынь, милой, не одних истцов – пасись всякого: имать будут тебя все... Срежь-ко свои кудри, оставь их бедной Ирихе... Откажи ей кудерышкн – ведь унесешь любовь, а я кудри буду под подушкой хоронить, слезами поливать и стану хоть во снах зреть ту путину дальнюю, где летает мой сокол желанной... Слушь! Вот что я удумала...

– Говори, жонка, – дрема долит!

– Обряжу я тебя в купецкую однорядку, брови подведу рыжим, усы и бороду подвешу... сама купчихой оденусь, и пойдем мы с тобой через Москву до первых ямов да найдем лошадей. Я-то оборочусь сюда, а ты полетай в родиму сторону.

– Спать, жонка! А там на постели додумаю, быть ли мне в купчину ряженным или на саблю надею скласть, – спать!..

– Ой, на перинушке дума не та! И не дам я тебе думать иных дум, сокол... Постельные думы – особые.

– Пей, дедо, с нами!

Горбатый старик, примостившись в углу под образами на лавке, приклеив около книги, старой, большой и желтой, две восковых свечи, читал.

– Пей, старой!

– Сегодня, гостюшко, я не пью... Сегодня вкушаю иной мед – мудрых речения...

– Бога ищешь? Кинь его к лиходельной матери! Ха-ха-ха!

– Ну его! Снеси меня, Степа... снеси на постель, и спать...

Свечи погашены. Сумрачно в горнице. Сидит в углу старик, дрожат губы, спрятанные в жидкой бороде, водит черным пальцем по рукописным строкам книги. На божнице у спасова лика черного, в белом серебряном венце, горят три восковые свечи. Спит атаман молодой, широко раскинув богатырские руки, иногда свистит и бредит. К его лицу склонилась женщина; кика ее, мутно светя жемчугами и дорогими камнями, лежит на полу у кровати.

Женщина упорно глядит, иногда проводит рукой по глазам. Вот придвинулась, присосалась к щеке спящего, он тревожно пошевелил головой, не открывая глаз; она быстро сунулась растрепанными волосами в подушки. Дрожит рубаха на ее спине, колыхаются тихие всхлипы-ванья.

Переворачивая тяжелый лист книги, горбун чуть слышно сказал:

– Иринеца, не полоши себя, перестань зреть лик: очи упустят зримое – сердце упомнит...

Она шепотом заговорила:

– И так-то я, дедко, тоскую, что мед хмелен, а хмель не берет меня...

Горбун, перевернув, разгладил лист книги.

Войсковая старшина и гулебщики

1

Батько атаман на крыльце. Распахнут кунтуш. Смуглая рука лежит на красной широкой запояске. Из-под запояски поблескивает ручкой серебряный турецкий пистоль. Лицо атамана в шрамах, густые усы опущены, под бараньей шапкой не видно глаз, а когда атаман поводит головой, то в правом ухе блестит серебряная серьга с изумрудом.

– Ге, ге, казаки! Кто из вас силу возьмет, тому чара водки, другая меду.

– Ого, батько!

Недалеко от широкого крыльца атамана, ухватясь за кушаки, борются два казака. Под ногами дюжих парней подымается пыль; пыль – как дым при луне. Сабли казаков брошены, втоптаны в песок, лишь медные ручки сабель тускло сверкают, когда борцы их топчут ногами. Лица казаков вздулись от натуги, трещат кости, далеко кругом пахнет потом.

Иные из казаков обступили борцов; лица при луне бледные, бородатые, усатые и молодые, чмокают, ухают и разбойно посвистывают:

– У, щоб тоби свыня зыла!

– Панько, держись!

– Лух, не бувай глух!

На синем небе – серая туча в темных складках облаков; из-за тучи, словно алам на княжьем корзне²³, – луна... За белыми хатами-пристройками атаманова двора мутно-серый в лунном отсвете высокий плетень.

От рослых фигур бродят, мотаются по земле черные тени, кривляются, но борцы, подкинув друг друга, крепко стоят на ногах.

По двору к крыльцу атамана идут три казака – старый, седой, и два его сына. Обступившие борцов казаки кричат:

– Бувай здрав, дид Тимоша-а!

– Эге, здрав ли, дидо?

– Хожу, детки! Здрав...

– Живи сто лет!

– Эге, боротьба у вас?

– Да вот Панько с Духом немало ходят.

– Стенько! Покидай их... – старик оборачивается к сыну.

– Степана твоего знаем, не боремся!

– Эге, трусите, хлопцы!

Атаман встретил гостей:

– Бувай здрав, казаче-родня! И хрестник тут? Без отписки круга на богомолье утек, то не ладно, казак!

– Поладим, хрестный! Подарю тебя...

Атаман поцеловал крестника в щеку, похлопал по спине:

– Идешь, казак, молиться, а лезешь в кабак напиться?..

– Хмельное, хрестный, пить люблю!

– Ведаю... Хорошо пил, что про твое похмелье вести из Москвы дошли...

– За мою голову Москва рубли сулила... не уловила, – сюда, вишь, путь наладили.

– Нашли путь, хрестник! Путь к нам с Москвы старой...

²³ Алам – серебряная бляха; корзно – плащ.

На двор прибывали казаки с темными лицами, в шрамах, бородатые, в грубых жупанах из воловьей шерсти.

– Эй, батько, давай коли сидеть по делу.

– Давай, атаманы-молодцы!

Натаскали скамей, чурбанов, досок – расселись. Молодежь встала поодаль. Борцы подобрали с земли шапки и сабли, ушли.

Атаман начал:

– Открываю круг! Я, братья матерые казаки, хочу кое-что поведать вам, иное вы и сами про себя знаете, но то, иное, надо обсудить по-честному!

Задымили трубки.

– Тебя и слушать, Корней Яковлевич!

– Говори!

– По-честному сказывай!

– Скажу – слушайте: зазвал я вас, братья атаманы, есаулы и матерые казаки, на малый круг, Москву познать и вольность старую казацкую оберечь. Без письменности нынь будем говорить...

Атаман сел на верхнюю ступеньку крыльца. Сел и старик со старшим сыном; младший, подросток, стоял, прислонясь к перилам. Атаман, блеснув серьгой, покосился, сказал младшему Разину:

– Фрол! Сойди-ка к хлопцам, то с нами сядешь, старых обидишь, а нужда будет – за отцом зайдешь.

Младший сын старика сошел с крыльца. Заговорил старик:

– Ты, родня-атаман, ведай: Москва давно хочет склевать казацкую вольность. Москва посадила воевод по всей земле русской, одно лишь на вольном Дону мало сидят воеводы... На вольном Дону казак от поборов боярских не бежит в леса, а идет в леса доброй волей в «гулебщики» – зверя бить, рыбу ловить – да гостем гостит за ясырем по морям... дуванит на Дону свою добычу по совести...

– Ото правда, дид! – отозвались снизу.

Атаману показалось, что дверь в сени за его спиной слегка приоткрылась, он оглянулся, поправил шапку и заговорил:

– Таких слов, дед Тимофей, не надо сказывать тогда, когда от Москвы посланцы живут у час, – это вольному казачеству – покор и поруха. Москва имает каждое наше слово, и уши у ней далеко слышат...

– Эй, отец атаман, зато ты так говоришь, что – чуется мое старое сердце – приклонен много царю с боярами... Ой, дуже приклонен!

Под кудрями бараньей шапки вспыхнули не видимые до того глаза атамана, но он выколотил о крыльцо трубку, набил ее, закурил от кресала и тогда заговорил спокойно:

– Откуда ты проведал, старый казак, что Корней падок на московские порядки? Вы, матерые казаки, судите по совести: холоп я или казак?..

– Казак, батько Корнило!

– Казак матерой, в боях вырос!

– Еще, атаманы-братья, – сбил меня Тимофей с прямого слова, – хочу я довести кругу, что посланец-боярин от Москвы не пустой пришел, пришел он просить суда над Степаном Разиным. Чем виноват мой хрестник, пускай кругу поведает сам.

Молодой казак встал:

– Или мне, батько хрестный и вы, матерые низовики, место не в кругу казацком, а на верхнем Дону?

Атаман, покуривая, прошептал:

– Пошто встал, хрестник, и ране времени когти востришь? Сиди – свои мы тут, без письма судим.

– Пускай кругу обскажет казак, что на Москве было!..

– Говори-ка, Стенько.

– Москва, матерые казаки-атаманы, зажала народ! Куды ни глянь – дыба, кнут; народу соли нет, бояре под себя соль взяли...

– Ото што-о...

– Глянул на торгу – шумит народ. «Веди на бояр – соль добудем!» Судите по совести, зовут казака обиженные, мочно ли ему не идти? Пошли, убили... царь того боярина сам выдал...

– Чего еще? Сам царь выдал!

– Дьяка убили – вор был корыстной, чу ино – хлеб режут, крохи сыплются – пограбили царевых ближних... Бояре грабят, пошто и народу не пограбить бояр?.. Мстился народ, а утром глянул: висит на торгу бумага – «имать отамана»; чу – мои приметы. Угнал я на Дон, а на Дону – сыск от бояр... Да и мало ли наших казаков Москва замурдовала!

– Ой, немало, хлопец!

– Не выдаем своих!

– Гуляй, Стенько! На то ты казак...

– Отписать Москве: «Поучили-де его своим судом!»

– А ты, хрестник, берегись Москвы! Потому и дьяков не позвал в круг я...

– Не робок, пускай ловят!

– Еще скажу я вам, матерые казаки, в верхних городках много село беглых с Москвы; люд все более пахотной, и люд тот землю прибирает. Годится ли такое?

– Оно верно, Корней! Не годится казаку землю пахать...

– Пущай украинцы пашут!

– За посошным людом идут воеводы!

– За пашней на Дон потекут чужие порядки, у Московии руки загребущие!

– Оно так, братья-атаманы, матерые казаки, не примать бы нам беглых людей – не борясь с Москвой, себя оборонить!

– Эй, Корнило, отец, как же обиженных не примешь?

– Как закроешь им сиротскую дорогу?

– Не согласны, братья?

– Не согласны!

– А это Москву на нас распаляет!

– Вот еще, Корней, слушь! Москва попов шлет нам, а попы – убогие старцы. Убогих своих много...

– Нам московского бога не надо! В Москве, братья казаки, все кресты да церкви, – богов много, правды нет!

Атаман перебил Разина:

– Ты, хрестник, Бога не тронь! Бог один, что у Москвы, что у нас. Москва ближе нам, не Литва она, не татаре...

– Люты ляхи нам, матерые казаки, лют турчин, ино Москва не менее люта!

– Не позабывайте, братья атаманы, что Москва шлет жалованье, шлет хлеб за то, что чиним помешку турку и татарве... Мой хрестник Стенько млад, он не ведает, что исстари от Москвы на нас идет зелье и свинец, а ныне и народом надо просить помочь: турчин загородил устье Дона, завязал железными цепями, выше Азова поставил кумфаренный город с башнями, оттого нет козаку хода в море!

– Добро, батько! Пущай Москва помочь даст зельем и народом.

– Народ московский не дуж на военное дело!

- А слабы свои, то немчиков пушай шлет!
 - Немчин худо идет в рейтары, в казаки не гожд, в стрельцы идти не думает!.. Немчин на команду свычен, – у нас же свои атаманы есть.
 - Есть атаманы!
 - Еще, вольное казачество, слышьте старого казака Разю!
 - Слушаем, дид, сказывай.
 - Прошу у круга отписку на себя да на сына Степана, хочу идти с ним в Соловки к Зосиме-Савватию, раны целить.
 - Ото дило, дид!
 - Раны меня изьедают, и за старшего Ивана, что к Москве в атаманы отозван воевать с поляками, свечу поставить, – ноет сердце, сколь годов не вижу сына...
 - Тебе отписку дадим, а Степану не надоть... Он и без отписки ходит!
 - Я благодарствую кругу!
 - Пысари есть?
 - Печать батько Корней пристукнет!
 - Я ж много благодарствую вам!
 - Еще что есть судить?
 - Будем еще мало, атаманы-молодцы! Так хрестника моего Степана Москве не оказывать?
 - Не оказывать!
 - Стенько с глуздом!²⁴ Недаром один от молодежи он в кругу...
 - То правда, братья! Еще спрос: с Москвы на Дон не закрывать сиротскую дорогу?..
 - Не закрывать!
 - Пушай от воевод народ спасается!
 - Патриарх тоже лих! И от патриарха...
 - Помнить надо, атаманы-молодцы, что на Дону хлеба нет, а пришлые с семьями есть хотят!
 - По Волге патриарши насады²⁵ с хлебом ходят!
 - Исстари хлебом с Волги живы, да рыба есть.
 - С Украины – Запорожья!
 - Оно атаман сказал правду, – думать надо, как с хлебом?..
 - Додумаем, когда гулебщики вернутся да с ясырем с моря; большой круг соберем!
 - Нынче думать надо-о!
- Круг шумел, спорил. Атаман знал, что бросил искру о хлебе, что искра эта долго будет тлеть. Он курил и молча глядел на головы и шапки казаков. Обойдя шумевший круг, во двор атамана, пробираясь к крыльцу, вошла нарядная девка с крупной фигурой и детским лицом, в красной шапочке, украшенной узорами жемчугов. Под шапочкой русые косы, завитые и уложенные рядами. Степан Разин встал на ноги, соскочил с крыльца, поймал девку за большие руки, поволок в сторону, негромко торопливо спросил:
- Олена, ты зачем?
 - К атаману...
- Казак, не выпуская загорелых рук девки, глядел ей в глаза и ничего не мог прочесть в них, кроме каприза.
- Ой, Стенько! Не жми рук.
 - Забыла, что наказывал я?
 - Уж не тебя ли ждать? По свету везде бродишь, а я – сиди и не пляши.

²⁴ Глузд – разум (*укр.*).

²⁵ Насад – речное судно.

Она подкинула ногой в сафьянном желтом сапоге, на нем зазвенели шарики-колокольчики.

– Хрестный дарил сапоги?

– Не ты, Стенько, дарил!

– Жди, подарки есть.

– А нет, ждать не хочу!

– Не ладно, Олена! К старому лезешь. Женюсь – бить буду.

– Бей потом – теперь не твоя!

Зажимая трубку в кулаке, атаман поднялся во весь рост и крикнул:

– Гей, дивчина, и ты, казак, – кругу мешаете...

– Прости, батько, я хотела к тебе.

– Гости, пошлю за тобой, Олена, а ныне у нас будет стговор и пир. Пошлю, рад тебе!

– Я приду, Корнило Яковлевич!

– Прошу и жалую, пошлю, жди...

Девка быстро исчезла. Степан поднялся на крыльцо. Атаман сказал тихо – слышно было только Разину:

– Хрестник, не лезь батьке под ноги... Тяжел я, сомну.

В голосе атамана под шуткой слышалась злоба, и, повысив голос, Корней крикнул:

– Атаманы-молодцы! – Вас, есаулы и матерые казаки, прошу в светлицу – наше немудрое яство отведать.

– Добро, батько атаман!

Заскрипело дерево крыльца – круг вошел в дом.

2

В хате атамана на дубовых полках ряд свечей в серебряных подсвечниках. На столе тоже горят свечи, стол поставлен на сотню человек, покрыт белыми с синей выбойкой цветов скатертями. На столе кувшины с водкой, яндовы с фряжским²⁶ вином, пивом и медом. Блюда жареных гусей, куски кабана и рыба: чебаки²⁷, шамайки жареные. На больших серебряных подносах пряники, коврижки, куски мака, густо обсыпанного сахаром. Пониже полки белые стены в коврах. На персидских и турецких коврах ятаганы с ручками из «рыбьей зубы», сабли, пистолы кремневые, серебряные и тяжелые, ржавые, те, с которыми когда-то атаман Корней являлся к берегам Анатолии да ходил бурными ночами «в охотники» мимо Азова по «гирлам» в море за ясырем и зипуном. По углам пудовые пищали с золочеными курками-колесами; из колес пищалей висят обожженные фитили. Тут же в углу на длинной изукрашенной рукоятке – атаманский чекан с обушком и булава.

Гости обступили стол, но не сажались. Хозяин, сверкнув серьгой в ухе, сказал:

– Прошу, не бояре мы, а вольные атаманы – на земле брюхом валялись, у огней боевых сидели, – кто куда сел, тут ему и место!

Сам ушел в другую половину, завешенную ковром; вскоре вернулся в атласном красном кафтане, на кафтане с серебряными шариками-пуговицами петли, кисти и петлицы из тянутого серебра. Поседевшие усы висели по-прежнему вниз, но были расчесаны и пушисты. К столу атаман вышел без шапки, голова по-запорожски обрита, на голове черная с проседью коса. Он сел на скамью в конце стола, поднял волосатую руку с жуковиной – золотым перстнем на большом пальце, на перстне – именная печать, – крикнул молодо и задорно:

– Пьем, атаманы, за белого царя!

²⁶ Фряжским – французским.

²⁷ Лещи.

– Пьем, пьем, батько!

Зазвенели чаши, иные, роня скамьи, потянулись чокаться. Держа по своему обычаю в левой руке чашу с медом. Корней Яковлев протягивал ее каждому, кто подходил позвенеть с ним. Многие целовали атамана в щеку, украшенную шрамами.

Выпивая, гости раздирали руками мясо. Сам хозяин, засучив длинные рукава московского кафтана, брал руками куски кабаньего мяса, глотал и наливал ближним гостям, что попало под руку. Около стола бегали два казачка-мальчика, наполняли чаши гостей, часто от непосильной работы разливая вино.

– Лей, казаченьки! Богат Корней-атаман.

– Богат батько!

– Не один разбойной глаз играет на его черкасском жильье!

– Дальные, наливай сами! – кричал хозяин.

– Не скупимся, батько!

Слышалось чавканье ртов, несся запах мяса, иногда пота, едкий дым табака – многие курили. Дым и пар от многих голов подымались к высокому курному потолку.

– И еще пьем здоровье белого царя!

– Пьем, батько!

Когда хозяин кричал и пил за белого царя, не подымал чаши старый казак Тимофей Разя и сын его Степан – тоже. После слов хозяина «и еще пьем» старик закричал. Его слабый крик, заглушенный звоном чаш, чавканьем и стуком о сапоги трубок, был едва слышен, но, кто услышал, тот притих и сказал о том соседу.

Старик заговорил:

– Ой, казаче! Слушайте меня, атаманы!

– Сказывай, дид!

– Слышим!..

– А-а, ну!

– О горе нашем казацком сказывать буду!.. Було, детки, то в Азове... На Покров, полуживые от осады, мы слушали грамоту белому царю, – пади он под копыто коню! – хрест ему целовали да друг с другом прощались и смерть познать приготовились. В утро мокрое через силу по рвам ползли, глеждали по насыпям, а дошли – в турецком лагере пусто. В уторопь бежали, настигли турчина у моря, у кораблей, в припор рушницы побили много, взяли салтанское большое знамя и колько, не упомяну, малых знамен...

– Бредит казак! То давно минуло.

– Ты не делай мне помешки, Корней-отец!

– Ото, казак древний, говори!

– Вот, детки, тогда и позвалось «Великое войско донское». Знатная станица пошла в Москву от Дона – двадцать четыре казака с есаулом, но скоро бояре забыли нашу кровь, наши падчие головы и тягости нашего сидения в Азове... Указали сдать город турчину. Нам было сказано: «Воротись по своим куреням кому куда пригодно!» Ото, братья-казаки, – царь белой! Не пьет за него Тимофей Разя-а!

– Не пьет за царя старый казак, и мы не будем пить!

Старики говорили, слабым голосом кричал Разя:

– Что добыли саблей, не отдадим даром!

– И мы не отдадим, казак!

– Батько-о! Где гость от Москвы?

– Путь велик, посол древний опочивает.

Дверь в другую половину светлицы атаманского дома завешена широким ковром-вышивкой, подаренным Москвой; на ковре вышит «Страшный суд». По черному полю зеленые черти трудятся над котлом с грешниками. Котел желтый, пламя шито красным шелком, лица грешни-

ков – синим. Справа – светло-голубые праведники, слева, в стороне, кучка скрюченных грешников, шитых серым. Картина зашевелилась, откинулась. Степенно и медленно, не склоняя головы, из другой половины к пирующим вышел седой боярин с желтым лицом, тощий и сухой, в парчовом, золотном и узорчатом кафтане, отороченном по подолу соболем. Ступая мягко сафьянными сапогами, подошел к столу, сказал тихо:

– Атаманам и всему великому войску всей реки великий государь всея Руси Алексей Михайлович шлет свое благоволение государское...

В старике боярине все было мертво, только волчьи глаза глядели из складок морщинистого лица зорко – не по годам.

Хозяин подвинулся на скамье, крытой ковром. Гость истово перекрестился в угол и степенно сел.

Кто-то крикнул:

– Слушь-ко, боярин! Сказывают, царь у боярина Морозова в кулак зажат?

– Вино в тебе, козак, блудит! То ложь, – ответил боярин и оглянулся на дверь, завешенную картиной-ковром: оттуда вышел мальчик-татарчонок в пестром халате; на золотом подносе, украшенном резьбой и финифтью, вынес серебряный острогорлый кавказский кувшин. Татарчонок бойко поставил все это перед боярином и исчез. Не подымая глаз, боярин сказал:

– Кто стоит за правду, того ренским употчеваю...

– А ну, боярин, всех потчуй!

– Того, кто мне люб, отаманы-молодцы!

Гости шумели, кричали бандуриста. Кто-то колотил тяжелым кулаком в стол и пел плясовую:

Ой, кумушка, ой, голубушка.

Свари мне чебака,

Та щоб юшка была-а...

Иные, облокотясь тяжелыми локтями на стол, курили. Хозяин кричал дежурных по дому казаков, приказывал:

– Браги, водки и меду, хлопцы!

– Ото батько! Живой не приберешь ноги...

Московский гость обратился тихо и ласково к Тимофею Разе:

– То, старичок-козаче, правду ты молвил про Москву: много обиды от Москвы на душе старых Козаков... Много крови пролили они с турчином в оно время, и все без проку, – пошто было Азов отдавать, когда козаки город взяли, отстояли славу свою на веки веков?

– То правда, боярин!

– А я о чем же говорю? И мир тот, по которому Азов отошел к турчину, все едино был рушен, вновь басурману занадобилось чинить помешку, ныне-таки есть указанье – повременить...

– Да вот и чиним, а в море ходу нет!..

– Азов – город, надобный белому царю. За обиды, за старые раны и тяготы, ныне забытые, выпьем-ка винца, – я от души чествую и зову тебя на мир с царем!

– С царем по гроб не мирюсь! Пью же с тобой, боярин, за разумную речь.

– Пей во здравие, в сладость душе...

Боярин налил из кувшина чару душистого вина. Старый казак разом проглотил ее и крикнул:

– За здравие твое, боярин-гость! Э-эх, вино по жилам идет, и сладость в меру... Налей еще!

– И еще доброму козаку можно.

Желтая, как старый пергамент, рука потянулась к кувшину, но в боярина уперлись острые глаза. В воздухе сверкнуло серебро; облив вином ближних казаков, кувшин ударился в стену, покатился по полу. Вывернулся татарчонок, схватил кувшин и исчез. Гости шутили:

– Лей вино-о!

– В крови да вине казак век живет!

Степан схватил старика за плечо:

– Отец, пасись Москвы, от нее не пей.

– Стенько, нешто ты с глузда свихнулся? Ой, вино-то какое доброе!..

Боярин неторопливо перевел на молодого Разина волчьих глаза, беззвучно засмеялся, показывая редкие желтые зубы:

– Ты, молотчий, по Москве шарпал, зато опоздился – мы с отцом твоим ныне за мир выпили...

– Ты пил, отец?..

– И еще бы выпил! Я, Стенько, ныне спать... спать... И доброе ж вино... ну, спать!

Сын помог отцу выбраться из-за стола. Лежа на крепком плече сына, старый Разя, едва двигая одеревеневшими ногами, ушел из атаманского дома. На крыльце старика подхватил младший сын, а Степан вернулся к гостям. Гости шумно разговаривали. Степан Разин прошел в другую половину атаманского дома. Когда его плотная фигура пролезла за ковер, боярин вскинул опущенные глаза и тихо спросил атамана:

– Познал ли, Корнеюшко, козака того, что Москву вздыбил?

От вина лицо атамана бледно, только концы ушей налились кровью. Особенно резко в красном ухе белела серебряная серьга. Помолчал и обведя глазами гостей, атаман ответил:

– Не ведаю такого... Поищем, боярин!

– Я сам ищу и мекаю – тут он, государев супостат... Приметы мои не облыжны: лицо малость коряво... рост, голос... У нас, родной, Москва из веков тем взяла, что ежели кто в очи пал, оказал вид свой, тот и на сердце лежит. Тут ему хоть в землю вройся – не уйти... такого Москва сыщет...

С ушей на лицо атамана пошла краска. Суровое лицо в шрамах стало упрямым и грозным. Зажимая волосатой рукой тяжелую чашу, он стукнул ею по столу, сказал:

– На Дону, боярин, мало сыскать – надо взять, а ненароком возьмешь, да и сам в воду с головой сядешь!

– Эй, Корнеюшко, что все ведаю... Но ежели тебе боярский чин по душе, а царская шуба по плечу, то Москве поможешь взять того, от кого великая поруха быть может боярству, да и Дону вольному немалая беда.

– Подумаю, боярин, и не укроюсь – шуба и честь боярская мне по душе!

– Вот и мекай, Корнеюшко, как нам лучше да ближе орудовать...

Атаман неожиданно встал за столом. Зычно, немного пьяно заговорил:

– Гой, атаманы, есаулы-молодцы!

– Батько, слушь! Слышим, батько-о!

– Голутьбу, атаманы, приказуем держать крепко! Приказую вам открыть очи на то, что с пришлыми по сиротской дороге стрельцами, холопями и мужиками наша голутьба нижних и верхних городов сговор ведет... И ныне та година, когда царь мужиков и холопей присвоил накрепко к господину, – много их побежит к нам, промышляйте о хлебе, еще сказываю я!

– Не лей, Корчило, на хмельные головы приказов!

– Лей вино, батько-о!

Переменив голос на более мягкий, атаман махнул рукой и, бросив зазвеневшую чашу на пол, крикнул:

– Гей, гей, дивчата!

Видимо, знали обычай атамана, ждали его крика – в сени хаты с крыльца побежали резвые ноги, горница наполнилась молодыми казаками и девками в пестрых нарядах. Появился музыкант с домрой и бандурист – седой, старый запорожец. Атаман вышел из-за стола вместе с боярином. Крепко выпивший, Корней Яковлев не шатался, только поступь его стала очень тяжелой. Пьяная казацкая старшина не тронулась с мест, даже не оглянулась. Круг ел и пил, как будто бы в горнице кроме них никого не было.

– Эге, плясавки!

Атаман сорвал с двери московский подарок, кинул с размаху в угол, открыл другую половину, – пришлые затопали туда. Бандурист, в запорожской выцветшей одежде, красных штанах и синей куртке, сел на пол, согнув по-турецки ноги, зачистил плясовую. Домрачей в рыжем московском кафтане стоя вторил бандуристу и припевал, топая ногой:

Ах ты, домра, ты, домрушка!
А жена моя Домнушка
Пироги, блины намазывала,
Стару мужу не показывала!
То лишь Васеньке ласковому,
Шатуну, женам угодливому,
Ясаулу-разбойничку —
Человеков убойничку.

– Ото московское игрыще! Свари мне чебака-а! А нехай ее чертяка зыист!
Музыкант продолжал:

Я бы взял тебя, Васенька,
Постегал бы тя плеточкой,
Потоптал бы подметочкой,
Вишь, боюсь упокойным стать.
Не случится с женой поспать!

Молодежь плясала. Позванивая колокольчиками на сапогах, плавала лебедем Олена в белой рубахе. Лицо ее не покраснело, как у прочих, но покрылось бледностью, оттого на бледном лице полужакрытые, искристые от наслаждения пляской выделялись темные глаза и черные, плотно сошедшиеся брови.

– Эх, Олена, дивчина! Краше твоей пляски нет... – кричал атаман. Его тяжелый сапог слышен был, когда он топал ногой.

Золотистые косы девки распустились, крутились в воздухе, сверкая красными бантами на концах.

– Стой, дивчина-бис!

Зазвенели колокольчики в последний раз, она топнула ногой и встала.

– На ж тебе!

Атаман бросил на шею девке тяжелое ожерелье из золотых монет.

За топотом ног не слышно песенников, чуть доносилось жужжание струн и звон подков на сапогах.

У белой стены, прислонясь спиной, стоял казак, худощавое лицо хмуро. Глаза следили за Оленой. Атаман шагнул, опустил на плечо казака тяжелую руку:

– Эге, хрестник! Нет плясунов – всех Оленка кончила...

Разин тряхнул кудрями, молчал и как будто еще плотнее налег широкой спиной на стену.

– Приутих, куркуленок!²⁸ Рано от гнезда взлетел... Не то иные – учатся колоть, рубить, а ты на мах поганого пополам секешь, видал сам, видал, – и, дыша в лицо Разина хмелем, атаман тихо, почти шепотом прибавил: – Разбойник! Но я люблю тебя, Стенько...

– Изверился я, хрестной!

– Не-ет! – Атаман открыл рот и отшатнулся.

Разин свистнул, отделился от стены:

– Место дай, черти!

Плясуны сбились в кучу к окнам. Взвилась над волосами сабля, засверкали подковы на сапогах. На кровати атамана, крытой ковром из барсовых шкур, сидел московский гость, его волчьи глаза следили за плясуном неотступно, но видел боярин лишь черные кудри, блеск на пятках плясуна да круг веющей сабли. От разбойных посвистов у боярина холодело в спине, плясун ходил, веял саблей, его глаза при колеблющемся, тусклом пламени свечей, поставленных на дубовой полке, горели. Московский гость вздрогнул, втянул голову и закрыл глаза, потом открыл их, тяжело вздохнув: высоко над его головой, чуть звеня, стукнула, вонзилась в стену сабля. Казак стоял на прежнем месте у стены, дышал глубоко, глядел, как всегда, угрюмо-спокойно. Зазвенели шаркуны на сапогах, Олена подбежала к нему, прижалась всем телом, сказала:

– Стенько, я люблю!

– Брось батьку дар!

Девка сорвала с шеи монисто, бросила на пол.

– К отцу, Олена... благословимся. Эй, хрестный, пошли саблю, у тебя своя лучше!

Олена и казак ушли. Атаман молча пнул ногой брошенное девкой ожерелье и громко закричал пирующим:

– Гости, прими ноги! На чужой каравай очей не порывай, со стола не волоките ничего...

– Скуп стал, ба-а-тько-о!

Хата атамана медленно пустела и наполнялась прохладой. Ушли все, только московский гость сидел с ногами на постели, крестился, шептал что-то. Атаман молча сел на край кровати.

– Зришь ли, Корнеюшко, молодца? Таким быть не место, как он... таких скакунов земля-мать долго не носит...

– Знаю, боярин!

– А и знаешь, Корнеюшко, да не все. Чуешь ли беду? Я ее чую! Холопи на Дон бегут, и Дон их примаёт... Много их и веком бегало, а бунт не завсегда крепок. Бывает он тогда, когда такая рука да удалая голова здынется из матерней утробы. И ныне, знаю я, ежели не изведем корень старого Рази козака... Его понесут завтра...

– Эге! Вино твое не простое, боярин Пафнутий?

– Старика нынче отпоют.

Атаман встал, зашагал по горнице и, видимо больше думая о своей обиде, тряхнул головой:

– Оленка-бис!

– Станешь боярином, Корнеюшко, ино мы тебе родовитее, краше невесту сыщем...

Атаман подошел к дверям, где недавно пировал круг, крикнул:

– Гей, казаки!

Боярин вздрогнул.

В светлицу вошли два дежурных казака.

– Проводите боярина в дальнюю хату, где дьяки спят... Там ему налажено место!

Московский гость встал и, не кланяясь, подал атаману сухую холодную руку:

²⁸ Куркуль – коршун (укр.).

– Доброй ночи, отаман! И доброй ночью посмекай, как быть лучше и что мной тебе сказано о том... Ведаю я людей, – тяжело тебе с вольного Дона неволю снять... Спихни эту неволю на нас. Москва – она государская, людишек и места в ней много, Москва знает, что кому отсечь.

– Прощай, боярин!

Гость ушел, атаман ходил по светлице, пока не оплылы до углей свечи.

3

Фрол силился удержать старика. Тимофей Разин висел на руке сына, его гнуло к земле. Голова вытянулась вперед, от света луны серебрилась щетина на казацкой голове.

– Ой, батя, грузишь, что каменной!

Старик выпрямился, остановился, сказал:

– Фролко, и ты берегись Корнея... Корней дуже хитрой, а пуще... – Старик не мог подыскать слова, память его слабела, мысли перескакивали, он вспомнил старое, бормоча запорожскую песню:

А що то за хыжка
Там на вирижку?
Ляхи сыдили,
Собак лучили,
Ножи поломали.
Зубами тягалы...

– Богдану-батько! А тож с крулем увяз... Эге, Фролко, кабы гуляй-городыну²⁹ подволокчи к московским палатам та из фальконетов, та из рушниц пальнуть в царские светлые очи! Жисти не жаль бы за то старому казаку, пропадай казак!..

– Батя, идем же скорее!

– Эге, Фролко, стой! Дай мне на месяц, на небо поглянуть... Вырос я на поле, на коне, на море. Ух ты, казацкий город! Запорожский корень, на серебряном блюде стоишь... Месяц, вода... до-о-бре!

Пришли в хату. Фрол с трудом уложил старика на кровать. Подошел, откинул доску, закрывавшую окно: степной, свежий ветер подул в застоявшийся воздух. Густое лунное пятно упало в дыру окна. Молодой казак подошел к столу, в корыте светца нашел огниво, высек огня, зажег дубовую лучину, потом вторую и воткнул их в черное железо.

– Сыну, Фролко!

– Что, батя?

– Налей, казак, в корец сюзьмы³⁰ с водой... Мало воды лей!..

Черноволосяый подросток, сбросив из воловьей шерсти кожух на скамью, дернул кольцо двери в подвал, слазал туда и принес в ковше деревянном кислого молока с водой.

– Добре, сыну, нутро жжет, и пот долит... Сам я – дай руку, шупай! – вот весь, як будто крыта весной, холодной и шершавой, а нутро – што черти пули льют в поход на ляхов... «А що то за хыжка там на вырижку?» И голоса не стало, а добре пел еще сей день, язык – как камень... Сычу, дай еще сюзьмы!

– Да, батя, у нас нет боле. Може, у Стеньки есть, то хата его на замке. Годи, я поищу под рундуком ключа.

²⁹ Гуляй-городына – башня, ходящая на колесах, с людьми; ее придвигали к осажденному городу.

³⁰ Сюзьма – кислое молоко.

– А-а, заперто! Не ищи... будь тут... «Ножи поломалы, зубами тягалы...» Добрая, Фрол, песня. Мы под Збаражем ляхам играли ее... ха-ха... тай под Збаражем, штоб ему! Бурляя кончили ляхи – эге, богатырь был Бурляй! В шесть рук Синоп пожег... фунт табаку совал в трубку, пищаль ли, саблю в руки – и бьет мухаммедан, як саранчу... Коло лица ночью огонь! От табаку усы и чуб трещат... Один сволачивал челн в море со всей боевой поклажей... В шинок влезет – того гляди, потолок обвалит... ого, коня на плечо подымал с брюха... Жжет нутро! Ой, Фрол, жжет, слушай!

– Я тут, батя!

– Кто там царапает? Пищит, слушай... а?

– Сокол, видно, цепкой опутался он так!

– Эге, сокол!.. Сокола буде не надо держать – тебя и Стеньку он не знает, а мне, видно, мал свет. Раздень!

Фрол стал раздевать старика.

– Тащи все! Тащи прочь, дай чистую рубаху... Вот, вот ладно. Пойду на майдан³¹ – выйду объявить: женится старый казак Разя.

Повенчала его сабля... сабля... сабля...

Старик с трудом встал. Лицо горело пятнами, веки опухли, метками опустились на глаза. Шагаясь и худо видя пол, в длинной белой рубахе, босой, на желтых искривленных ногах подошел к окну, где пищал сокол.

Птица злобно рвала клювом цепочку, клюв потрескивал.

– Стой, сарынь! Давно не был на воле... стой же, пущу... Фрол, помоги, не вижу...

– Он щипется, батя!

– Ну, казак, – всякому удалому казаку – смерть на колу, а худому – у жонки в плахте, – небойсь, рук не порвет до плеч...

– Я не боюсь, да он крутится!

Сокол пищал злобно, рвал цепочку, мелькал сизыми ключьями перьев. Старик осторожно взял его в руки и тихо сказал:

– Сарынь, жди.

Сокол злобно вертел головой, но не клевался и ждал. Фрол распутывал на нем заржавевшую железную цепочку.

– Отстегни, сыну, – выпустил!... послышал что-то, видно... послышал, неспроста он...

– Ночью не полетит.

– Полетит, спущай цепку.

Сокол, почувяв свободу, прыгнул за окно.

– Полетел?

– Да, взвился, ишь!

Старик, не морщась, заплакал:

– И месяца не вижу... темно... тьма, тьма... Поклон, сарынь, сыну Ивану, что в атаману... Ой, жжет! Фрол, сюзьма, сюзьма! Москва... Стенько сказал... а-а... держи... Фрол, где ты?

Подросток не мог удержать старого казака. Тимофей Разя осел на пол, седая голова на тонкой, коричневой от загара шее низко склонилась. Фрол, напрягаясь, силился поднять отца, чувствовал, что не может, и опустил холодное, как камень, тело...

³¹ Майдан – площадь.

4

Подросток беспомощно постоял над мертвым отцом и ушел на кровать; уткнувшись в заячьи шкуры, заменявшие подушки, заплакал: ему казалось, что он виноват в смерти отца:

– Не дать ему сесть до полу, жил бы.

Отец как Стеньку, так и его учил владеть саблей, на коне скакать, колоть пикой. Умел старик вовремя упрекнуть и поддержать храбрость.

– Батя мой, батя...

Лунный свет падал в окно, когда Фрол поднял голову; ему послышались голоса, лунный свет в окне стал шире, а по телу Фрола пошли мурашки. Он все забыл и слушал, полуоткрыв рот, голос девки.

Девка, не зная и не желая того, волновала подростка Разю:

– Стенько, не обрядна я и не пойду к твоему батьке... Годи, завтра обряжусь, не бойсь, приду, буду, как все, тебя в мужья просить...

– Оленка, перестань! Не надо, – нарядна, куда больше, – сегодня отцу все скажешь, а завтра на майдан – народу поклонись, и я скажу: «Беру тебя в жоны!» Попа к черту... – Ну, ин ладно!

Торопливые руки начали шарить дверь. Фрол вдавил лицо в заячьи шкуры.

– Эй, Фролко! Сатана ты, где огонь?

– Погас, огниво в светце, лучина!

Слышно было, как тяжелая рука била кресалом по камню.

– Фрол, где батя?

– Гляди – на полу.

Лучина попала сырая. Степан, ударив нетерпеливо по светцу, погасил тлеющие огарки. Полез под кровать рукой, нашарил ящик, вынул две сальные свечи, зажег.

– Эй, Фрол! Пошто на полу отец?

– Он застыл, Стенько!

– А-а-а! Фрол, беги на площадь. Ту близ, справа дороги, хата, в ей греки живут и баньяны³² разные. Понял?

– Понял!

– Там, знаю я, немчин-лекарь проездом стал, веди его... скажи... да на сот талер – еще дам! Скажи: не пойдет – с пистолем заставлю.

– Бегу, Стенько! Скажу...

– Ой, Олена, ежли мой отец отравно пил, я московитов бояр не спущу даром... Ты гляди – рука? Она – камень, так не помирают с добра... Подойди – старик мертвый, а не бойсь – золотой... В море малого меня брал пищали заряжать... Учил переходить на конь реки, и первый я из всех рубил, колол... От атамана уздечки, седла. Зато дьявол! Что сказываю? Все знаешь сама.

– Знаю...

– Ходи, не бойся, – вот его рука, подымаю, – он живой дал бы согласие... а? Ты моя, Олена? Беда, ой беда! Батько, старый Тимоша, отец!

Молодой казак стоял на коленях, теребил свои кудри. Девка держала казака за плечи.

– Долго! Нейдет немчин? Ино сам пойду.

– Ты плачешь. Стенько? Я буду крепко любить...

– Не целуй, не висни, Олена! И не знаю я... что? что?

³² Баньянамн называли индусов.

Открылась дверь. Торопливо, почти вбежал Фрол, за ним двое немчинов в черных плащах вошли в хату. На головах черные шляпы с высокими тульями и белым перьем. Оба в башмаках, при шпагах. Один остался у дверей, оглядывался подозрительно. Другой на тонких ногах решительно подошел, нагнулся к мертвому, потрогал под набухшим веком остекленевший глаз старика, пощупал холодную руку.

– Ту светит! Ту светит! – приказал он.

Степан водил огнем свечи, куда показывал лекарь.

– Тот! Помер, можно скажайт...

– Отрава или нет? Да правду сказывай, черная сатана!

– Мой правд, завсегда правд! Стар... сердце... Пил вина?

– Пил – был на пиру!

Другой черный подошел и, не трогая старика, нагнулся, долго, внимательно глядел на мертвого.

– Не знайт! – сказал лекарь. – Пил вина, от сердца ему смерт... Schwarz das Gesicht?³³ – обратился он к другому, как бы призывая его в свидетели.

Тот молчал.

– Уходишь, немчин?

– Зачиво больше ту?

– Бери талер, пришел – бери! И все же лжешь ты, черный дьявол!

– Пейт, лжа нейт, казак!

Немцы ушли.

Луна была такая яркая, что песок по узким улицам, белый днем, белым казался и ночью. Шли иностранцы мимо шинков, закрытых теперь: воняло водкой, чесноком и таранью. Синие тени, иногда мутно-зеленые лежали от всех построек, от мохнатых крыш из камыша и соломы. Тени от деревьев казались резко и хитро вырезанными. Немцы прошли мимо часовни с образом Николы, прибитым под крестом, возглавляющим навес. Часовня, рубленая из толстого дуба, навесом походила на могильные голубцы³⁴, – похоже было, что часовню рубил тот же мастер. Здесь иностранцы пошли медленно. Доктор сказал:

– Пришлось много спешить нам! Грозились, устал я...

Кругом была тишина и безлюдье, только изредка выли собаки, и где-то далеко-далеко в камышах голодно отзывался шакал.

Другой немец спросил:

– Почему, доктор, ты удержал истину? Старик явно отравлен.

– Я много наблюдал эти и иные страны. Московиты, узнав от врача правду о насильственной смерти, убивают не виновника ее, а того, кто вывел им причину смерти, ибо преступник далеко, но возмущение тревожит сердце варвара... Эти же, кому пришли мы свидетельствовать о смерти, еще более дики, чем московиты, и невоздержны в побуждениях подобно римским легионерам: в походе они убивают даже своих начальников и возводят других... Убить для них – высшее наслаждение, потому им правда не нужна!

– Мой друг, мы в сердце самой Скифии, а не в Европе... Заработав от них плату за наше беспокойство, мы за сохранение жизни своей обязаны благодарить Всевышнего Бога, что можем еще приносить пользу той стране, которая дала нам жизнь...

Немцы говорили на гольштинском наречии.

– Какая прекрасная женщина находится при этом варваре! Ты посмотрел на нее, доктор?

– О да, у ней могучее тело и детское лицо, но там так темно и, как везде у дикарей, очень скверно воняет шкурами и рыбой... Могу засвидетельствовать: взгляд казака – необык-

³³ Почернело лицо? (нем.)

³⁴ Голубец – очень толстое дерево с кровлей, надгробный памятник.

новенный, голос проникает до сердца. Зная истину, я с трудом удержал ее, чтоб не сказать ему. О, тогда нам пришлось бы бежать отсюда, ибо не знаем мы, какие последствия были бы нашей правды... Я же хочу подождать баньянов, рассчитывающих на барыши от разбойников... Я намереваюсь с купцами поехать в Индию – страну браминов, целебных растений и великих чудес!

– Здесь глубокий песчаный грунт, доктор, я изорвал чулки, а носить неуклюжую обувь не привык.

– Вы правы! Я думал об этом.

Немцы, неторопливо разговаривая, вошли в большую хату на площади – постоянное пристанище иностранных купцов.

5

В обширной хате в глубине атаманского двора устроились московские гости – боярин и три дьяка.

Внутри хата убрана под светлицу: ковры на стенах, на полу тканые половики, большая печь с палаткой и трубой; хата не курная, как у многих, хотя в ней пахнет дымом, а глубокий жараток набит пылающими углями. Окна затянуты тонко скобленным бычьим пузырем, свет в избе тусклый, но рамы окна можно сдвинуть на сторону – открыть на воздух. Опасаясь жадных до государевых тайн ушей, боярин Пафнутий Киврин не открывал окон, но, распахнув дверь в сени, выпускал жаркий и угарный воздух избы. Боярин встал рано, открыв новгородского дела синий сундук, окованный узорчатым серебром, достал дедовский медный, под золотом складень с изображением многих праздников, примостил раскрытый складень в углу на столе и, приклеив перед ним восковую свечу, зажег ее лучиной.

Раньше чем стать на колени, перекреститься проворчал:

– Образов мало, а чтут ся христианами... В церкви почасту войну решают...

И, держа пальцы в двуперстном сложении, крепко пригнетая их во время креста ко лбу и груди, стал молиться. Мутный свет ползал по его желтому голому черепу. Боярин не зашептал дверей в горенку, где жили дьяки, – он любил досматривать своих людишек. Во время молитвы лезла в голову неотвязная мысль, боярин размахистее молился, стучал лбом, кланяясь в землю, но не мог устоять, подумал: «Здесь чадо с людишками иной потуг, ино сбегут в козаки, тайны наши разглаголят».

Против дверей, в другой половине, дьяки обедали. На широком столе с голубой скатертью стояло большое блюдо жареных чебаков с поливкой из красного перча, тут же насыпанная до краев сушеными шамайками – мелкими рыбами – плошка глазированная, красной глины.

– Штоб их сотона взял, чубатых! Просил баранины, они же, трясча их бей, шусей нажарили, – зычным басом сказал молодой дьяк в нанковом кафтане, длинноволосый и русский.

– Запри гортань, тише!.. Боярин на молитве. Лжешь. Зри-ко – тут леши да корюха сушена...

– Бузу завсегда лопают, нам ублажают ее... Просил квасу – нет! Мне брюхо натянуло с бузы, как воеводский набат...³⁵

– Ой, Ефим! Станешь в ответ боярину... Ой, детина, мотри...

Ели дьяки руками, поевши, покрестились, вытерли руки о полы кафтанов. Два – борода-тых дьяка. Ефим – молодой – едва показывались усы.

Молились дьяки своим образом, – в хате хозяйских образов не было. В половине дьяков на стене висела только лубочная картина местного изготовления: неуклюжий казак в красной шапке, в синей куртке, в штанах красных, заправленных в сапоги не по ноге, колол длинной

³⁵ Набат – большой медный барабан.

пикой словившегося назад ляха в зеленом кафтане, в голубой шапке с красным пером. Внизу крупная надпись: «Бисов ляше у Богдана-батька пляше». Младший из дьяков, вторя скрипу отодвигаемого окна, громко испустил газы, говоря:

– Хорошо бы у чубатых! Свет велик, только ветром песку много метет, зубы скрегчат...

– Сказываю – боярин на молитве, – пождал бы спущать дух, поспеешь, мы вон терпим...

– Ништо, знает он.

– Знать тебя знает, да на Москве в гости зазовет, – в Разбойном там спустишь у заплечного...

Молодой дьяк тряхнул волосами:

– Бит-таки бывал от него, а у заплечного мне быть не к месту, я не вор.

Кончив молиться, боярин степенно и строго вошел к дьякам, захватив по дороге свой посох. Дьяки низко поклонились, касаясь пальцами полу.

– Утомился, боярин? Просим отведать наше немудрое яство! Я объедки приберу, сменю скатерть и кликну, чтоб дали самолучших яств...

Молодой дьяк говорил суетливо, готовый бежать.

Боярин остановил:

– Невместно мне с вами – зван к отаману, а вот дух пустишь беспричинно... Клоп за тобой, детина, ездит, как за ханским послем вошь в кибитке.

Старшие дьяки стояли, склонив головы, ждали, когда боярин будет говорить тихо, почти шепотом: тогда бойся. Но боярин ровно и громко продолжал:

– Взят ты мной, Ефим, юнцом малым, книжному урядству обучен и чернилы приправлять, а ныне дозволение я оказал тебе многое, даже листы государю составлять доверился, ты и не помыслишь, сколь великой чести уподоблен, – клопа ведешь за собой...

– Прости, боярин, то клоп от тихого испускания духа живность имет, от трескотного старания не зарождается...

На возражения дьяка боярин стукнул посохом в пол и нахмурился, что-то хотел сказать, но в воздухе за окном послышалось многоголосое пение, прогремело:

– Ура-а, бра-а-ты!

Вздрыгнула земля от залпа пушек.

Боярин побледнел:

– Что это? Ефим, беги, проведай!

Бородатые дьяки бросились к окнам. Младший стоял спокойно:

– То, боярин, с моря шарпальники вошли, свои чубатые стрету бьют...

Боярин ожил:

– Вот за то и люблю тебя, Ефим, что знаешь все, что затевается у них... Ох, угарно, у меня голова что-то скомнет, на ветер ба ино ладно, да боюсь...

– Чего убоялся, боярин?

– Ведь мы послы от государя, мног народ очи откроет, а народ – вор, злонравный народ! Отаманов своих мало слушает, так зло бы кое над нами не учинили!

– Страх мал, боярин! Турской посол, персицкой и иные в их городишке почасту стоят, мы, как все, – обykleли они к послам, ей-бо!

– А, так? Я вот армяк накину, и пойдем. Армяк хоша скорлатной, да покроем всего к месту ближе...

– Дай подмогу тебе, боярин!

Молодой дьяк вывернулся впереди боярина в его половину. Пожилые с завистью глядели вслед; когда боярин занялся платьем, один сказал:

– Обезит нас Ефимко! Боярина водит, как выжлеца³⁶ на ремне...

³⁶ Выжлец – собака-ищейка.

Другой так же чуть слышно ответил:
– То правда, Семенушко, обежал уж...

6

Боярин Пафнутий с дьяками неторопливо вышел за плетень атаманского двора...

Со сторка видно им реку, белую от солнечного света. На серебре струй московские гости увидели страшные им челны «шарпальников»: длинные, с длинными веслами, почерневшие от воды и порохового дыма, опутанные толстыми ребрами полос из прутьев камыша. В челнах люди – в бархате, золотой и серебряной парче, в коврах; в красных шапках – запорожцы, в бараньих – донцы.

– Сатанинское сборище...

Боярин, бодая песок посохом, двинулся вперед. Дьяки – за ним.

Толпа казаков выскакивала из челнов на пристань. На пристани другая толпа своих была в котлы-литавры, играла на трубах и дудках. Тут же, с берега, стреляли холостыми из длинных пушек на дубовых колесах. По серебристой воде ползли тучи дыма, пахнувшие порохом. Крики сотен голосов:

– Бра-а-ты з моря-а!

На бревенчатую пристань казаки из челнов вели пленных (ясырь): мужчин, связанных и оборванных, с чужими бронзовыми лицами в крови и царапинах; полуголых женщин в пестрых штанах. Женщин казаки вели несвязанными – за косы. Один запорожец, саженого роста, с усами вниз, падающими на могучую грудь, в разорванной синей куртке, в плаще из сизого атласа, скрепленного у подбородка золотой цепью, коричневыми руками с безобразными жилами держал за косы двух молодых турчанок и когда подходил с ними к кому-нибудь из мужчин, то кричал пленницам:

– А ну, перехрестись!

Турчанки неумело крестились.

– Покупай, братья, ясырь! Всяка хрестится, жена будет!

Лица вернувшихся с моря – в черной крови, запекшихся шрамах, руки – тоже. Пестрая толпа с пристани направилась к часовне на площадь.

– К Мыколы! Морскому святому молебн за живое вертанне з моря...

– Кто письменный? Пехай тот и поп буде!

– А ну, хрестись!

– Гундосый, ты?

– Тарануха?! Казак, здоров? Дай пошупаю, – жив...

Люди, вырвавшись из зубов смерти, из холодной утробы моря, радостно, до ошале-ния, смеялись, кричали, пели. Не дослушав молебна у часовни, растекались по улицам, лезли в шинки, ели. Кричали:

– Гей, крамарки³⁷, подавай бузу, тарань, шамайку!..

Торговки с корзинами из тонкого камыша жались к шинкам и бойко продавали рыбу, хлеб, куски жареной баранины. В одном месте московские гости увидели будку, закрытую дубовыми бревнами с трех сторон, открытую с четвертой, закиданную камышовой крышей с дерном. В ней на ярком солнопеке на обрубке дерева сидел, весь коричневый и рваный, в лохмотьях красных штанов, в лаптях и синей выцветшей куртке-зипуне, запорожец. Уличный цирюльник ржавым кинжалом скоблил ядреную голову казака, поливая ее из широкого глиняного горшка мутной водой, мылил куском грязного мыла. Тут же точил свою полуаршин-

³⁷ Крамарки – торговки.

ную бритву о точило, стоящее на земле, помачивал точило той же водой из горшка и правил кинжал о голенище сапога.

Запорожец, когда цирюльник с треском, словно счищая с крупной рыбы чешую, начинал скоблить его голову, жмурясь от солнца, кричал:

– Эге, добре! Брий, хлопец, гладенько, не зрижь тильки оселедця. Гоздек³⁸ у запорозцев не живет, живет гоздек у донцов, – воны волосы рошат, запорозци усы мают, бород им не треба! То московитска краса... Запорозцу бороду не можно носить, то яйцки казаки носят, воны тож московитски данныки.

Иногда соскакивал с головы ляпак кожи, поцарапанное во многих местах бритьем скуластое лицо цирюльника хмурилось, он начинал усердно мылить порезанное место, поливая водой и смывая с лица казака льющуюся кровь. Казак успокаивал цирюльника:

– Плюй, хлопец, и посыпь земли! То не кровь, яка то кровь? Запорожска шапка красна – под ей крови не видно!

Боярин сказал:

– Дьяче, все надо досмотреть и дослышать... – Он отошел от ларя цирюльника, встал в другом месте.

– Засвежи его, сатану! – сказал про себя молодой дьяк, глядя на работу брадобрея, но, вскинув глаза, увидал, что боярин и два дьяка впереди, пошел к ним.

Тут четверо казаков, накинув на себя вместо жупанов ковры персидские и турецкие, кричали о своих подвигах:

– Наспускали мы их, братья, нехристям, бревен, колотят тыи бревна о цепи, – бурун метет волны... мы ж в камышах ждем!

– Стой, Лаврей, не то!.. Дай я скажу: тьма, ветер голову с плеч рвет, а турчин, знай, дует по бревнам з пушек! Бревна тай лезут на цепи, кидает их, цепи брежчат, аж в аду, а турчин воет: «Алла! Алла! Бузлы-джи!» Ого, бусурман, и тебе на берегу лед? Да так и отсиделись в камышах. А как они иззябли да палить утихли – мы скок в море. Бей мухаммедан!

С саблей, усатый, в синем нарядном кафтане, подошел атаманский писарь.

– И все вы, братья, тут проскочили мимо Азова?

– Не, казак! Иные переволоклись в Миюс с Донца, Миюсом – в море, да и к нам тож пристали.

Толпа прибывала, теснилась; слушали, расспрашивали вновь. Удальцы, чтоб наконец отвязаться, обратились к писарю:

– А ну, пысьменный, кажи ты, что знаешь....

– Чого ему знать? Он у Корнея, у круга сидит!

– Буду я вам, казаки-братья, честь, как запорожской атаман Серко судил с салтаном...

– Эге, добре!

– То послушаем! На бочку, ставай на бочку...

Прикатали бочку, доску поперек дна кинули, подняли писаря:

– Чти-и!

Человек в синем поправил шапку, саблю одернул, вытащил из-за пазухи пачку бумаг, поплюнув палец, перелистал и крикнул, взглянув на головы и шапки:

– А ну, не бодайтесь!

Бумагу, которую читать, бережно и медленно развернул, прочел громко: «Кошевой атаман Серко крымскому хану Мураду».

– Эй, чего чтешь? Чти к салтану турскому!

– А ту, к турскому салтану, бумагу я, казаки-братья, в станичной избе заронил, не сыщу! От многих рук, вскинутых вверх, по белому песку замотались голубые и синие тени.

³⁸ Гоздек – колтун.

– А нехай ее чертяка зъест!

– Чти коли крымскому.

– Ну, казаки, чту: «Братья наши запорожцы, с вождем своим воюючи в човнах по Евк-сипонту, ко-с-ну-ли-сь му-же-ствен-но и самых стен константинопольских и оные довольно окуривали дымом мушкетным при великом султанове. И всем мешканцам (обывателям) цареградски-им сотворили страх и смя-те-ние и некоторые одле-глей-шие (окружные) селения константинопольские запаливши толь счастливо, з многими добычами до коша своего повергнули».

– То Нечай с Бурляем – запорожцы – хорошо при-виталися с турчином!

– И мы нынь его не забуваем!

Боярин сказал:

– Примечайте, дьяче: шарпальникам государев запрет ништо, приказано им турчина не злить...

Толпа, потная, пьяная, лезла слушать, надеясь, что писарь будет читать бумагу к султану. Солнце жгло головы и плечи. В глубоком небе чуть заметно, как муха на голубом высоком потолке, стоял над толпой какой-то воздушный хищник.

– Куркуль реет!

– Где? Не вижу. Эге, высоко!

– Высоко, бисова шкода!..

Писарь слез с бочки, казаки с моря кричали:

– Ты, пысьменный, пошто Дону служишь?..

– Служи Запорожью!

– Запорожцы никому не продались! Низовики продались московскому царю.

– А бо дай вона выдыхала, царская Московия, и с царем и з родом его!

– «С турчином греха не заводить, ждать указуз, ведь так, боярин, писано государем и великим князем? – спросил один дьяк.

Боярин, гневно тыча в песок посохом, вода по толпе глазами, сказал шепотом:

– Разбойники позорят поносным слозом имя государево, – не гоже нам быть тут!

Москвичи двинулись дальше.

7

Посреди улицы, в сыром месте, кинув прямо в грязь атласный плащ, разлегся запорожец с двумя пленницами-турчанками. Одну из них он посадил за собой, положив большую бритую голову с оселедцем ей в колени, другая сидела рядом на песке. Косы турчанок из рук казак выпустил и, зажмурив глаза, дремал на припеке. Кривая черкесская сабля в серебряной оправе, кремневый ржавый пистолет лежали у его правой руки.

Закрыв глаза, опутив черноволосые головы на смуглые голые груди, пленницы, видимо, грустили без слез.

Боярин подошел к запорожцу. Дьяки встали поодаль, но старик кивком головы позвал младшего из них:

– Взбуди его!

Ефим зашел к запорожцу сбоку, слегка толкнул дремлющего носком желтого сапога.

– Кой бис?! – крикнул запорожец. Загорелый кулак разжался, и узловатые пальцы впились в рукоятку сабли.

Боярин громко сказал:

– Эй, козак, продаешь жонок? Угодно нам знать цену.

– Мой ясырь – двадцать талерей за голову.

Приоткрыв глаза, запорожец, отняв руку от сабли, полез ею в карман красных шаровар, вытащил большую трубку, кисет и кресало.

– Разбойник! Пошто много ценишь?

Разбойник, не обращая внимания на слова боярина, набил трубку, высек огня, закурил и вновь решил задремать...

– Даю тебе двадцать пять рублей московскими. Талер – цена рубль!

– Сам не беззубой, да менгун³⁹ надо, а то на обеих бы женился... даром марать посуду не хочу!

Боярин, выжидая, молчал.

Казак вскинул на него разбойничий взгляд, прибавил, шлепнув рукой по рваной штанине:

– Нам в путь-дорогу идти есть с чем, а ты, крамарь, – мертвец!

Боярин метнул глазами на казака и зашипел, тряся головой. Из-под розовой бархатной мурмолки замотались по вискам седые косички:

– Один лишь дурак указывает перстом меж ноги, умный в лицо зрит!

– Поди к бису, крамарь! Дешевле ясырь не продам тебе за то, что мертвец... Хочу, чтоб у жонок куча хлопцев была... Сам не имеешь глужда – на титьки им глянь, на брюхо... э-эх! Пададь ты, тьфу!

– Мне их не доить, бери двадцать шесть талерей, – сыщу деньги...

Запорожец медленно, полусонно набил снова трубку, закурил.

Подошел высокий степенный турок или бухарец в белой чалме, в пестром длинном халате, что-то очень тихо сказал по-турецки – пленные подняли головы; у той, которая держала голову казака, смуглое лицо ожило румянцем, другая турку улыбнулась глазами, боязливо и быстро кинув взгляд на дремлющего казака, слегка поклонилась.

Человек в чалме нагнулся над запорожцем, сказал громко:

– Селэ малыкин!⁴⁰

– Ого! – Запорожец открыл глаза, ответил тем же приветствием: – Малыкин селэ, кунак!

– Колько – два?

– Тебе, мухаммедан? За тридцать талерей – два!

– Дай ясырь – бери менгун.

Запорожец быстрее, чем можно было ожидать от грузного тела, сел, загреб в охапку обеих пленниц, как маленьких девочек, встал с ними на ноги:

– Ясырь вот, дай менгун!

Человек в чалме бойко отсчитал тридцать серебряных монет, передал запорожцу. Пленницы стояли сзади него, казак взял ту и другую за руки, передал купившему, сперва из правой руки одну, потом из левой – другую.

Купивший нагнул перед казаком голову, приложил руку к сердцу в знак приветствия продавцу ясыря и, повернувшись, пошел с турчанками в город.

– Эге! То не крамарь – купец... – проворчал запорожец. Нагнулся, накинул на плечо плащ, загреб в большую лапу оружие и шапку. Сонливость с него спала, он спешно пошел в ближайший шинок.

Младший дьяк не утерпел, громко сказал:

– Эх, боярин, да я бы у этого бражника обеих жонок купил за два кувшина водки.

– Я тебе, холоп, заплавлю рот свинцом! – прошипел боярин.

Мимо москвичей юрко пробежал почти голый мальчишка, черноволосый и смуглый; потряхивая кувшином киноварной глины, кричал:

³⁹ Деньги.

⁴⁰ Здравствуй!

- Коза-а! Буза-а!
- Эй, соленый пуп! – подзывали мальчишку проходившие казаки.
- Дай бузу!
- Видя, как жадно глотали казаки бузу, младший дьяк ворчал:
- Чубатые черти! Дуют – хоть бы что, а мне с подболтки этой охота дух пустить, да старик – как волк.
- Молодой дьяк боялся идти близко за гневным боярином, ждал, когда его позовут...

8

На площади недалеко от часовни Николы стоит деревянная церковь Ивана Воина с дубовым, из бревен, гнилым навесом над входом. Под навесом над низкими створчатыми дверьми с железными кольцами – темный образ святого. Иван Воин изображен вполуоборот, в мутно-желтых латах, опоясан узким кушаком, на кушаке недлинный меч в темных ножнах, под латами красные штаны, сапоги, похожие на чулки, желтые. Левая рука опущена и согнута к сердцу, в правой он держит тонкий крест, и вид у него как будто к чему-то прислушивается. В углу на клочках облаков какие-то лики...

Казаки входят и выходят из церкви, поворачиваются и на дверь крестятся. Ставят свечи тем святым, которые, по их понятиям, лучше помогают в походах и кому на войне дано слово поставить в старой церкви «светилку». В церкви два попа, присланные Москвою; каждый из попов привез по образу, писанному московскими царскими иконниками. Казаки обходят привезенные образа, ворчат:

- Не нашего письма образы... Христы на воевод схожи – румяны и толсты.

Про попов шутят:

- Древние. Поп попа водит и по пути спрашивает: «Як тебе имя, Иване?» – и до сих пор попы не ведают, кого кличут «Иване», а кого «Петр».

Читать попы не видят – службу ведут на память, вместо «аллилуйя» часто произносят «аминь»... Казаки редко венчаются в церкви, больше придерживаются старины: объявляют имя жениха и невесты на майдане, строят для того помост, жених берет свидетелей за себя и за невесту.

Боярин с дьяками проталкивались на площадь к церкви. Не доходя площади – ряд торговых ларей и шинков-сараев. Москвичи, подойдя к ларям, рассматривая товары, приостановились: перед одним ларем ходил взад-вперед бородатый перс в широком кафтане из верблюжьей, крашенной в кирпичный цвет шерсти, в коротких до колен такого же цвета штанах, с голыми ногами в башмаках на босу ногу, кричал, как гусь:

- Зер – барфт! Зер – барфт!⁴¹

Идя обратно, взывал тем же голосом:

- Золот – парш, золот – парш!

- Эй, соленой!

- Он не грек – баньян, мултанея.

- Не, пошто? У тех по носу мазано желтым и в белой чалме, а этот в синей, да все одно. Эй, почем парш, чесотку продаешь?

В глубине ларя сидел другой перс – видимо, хозяин в халате из золотой с красными разводами парчи, в голубой вышитой золотом чалме, – ел липкие сласти, таская их руками из мешка в рот; черная с блеском борода перса была густо облеплена крошками лакомств.

Когда с зазывающим покупателей персом разговаривали, он улыбался, махал руками, кричал громче первого:

⁴¹ Зер – золото; барфт – ткань.

– Хороши парча! Хороши, дай менгун, козак!

Боярин подошел к ларю, подкинул вывешенные светлые полотнища на руке, сказал:

– Добрая парча! Надо зайти купить... На Москву такой не везут...

Прошли, почти не взглянув на лари с синей одамашкой-камкой⁴², коротко постояли у ларя с бархатами: бурскими, литовскими и венецейскими.

– Бархаты продают, разбойники, не в пример лучше московских: цвет рудо-желтой, золотным лоском отливают...

Дальше и в стороне – ларь с сараем. Сквозь редкие бревна сарая из щелей сверкали на свет жадные чьи-то глаза. Ларь вплотную подходил к сараю. В сарае из открытого ларя – дощатая дверь, завешенная наполовину персидским ковром; по сторонам ларя – ковры удивительно тонких узоров. Боярин развел руками и чуть не уронил свой посох с золоченым набалдашником:

– Диво! Вот так диво! Этаких ковров не зрел от роду моего, а живу на свете довольно...

В ларе два горбоносых, высоких: один в черной шапке с меховым верхом, другой в черной мохнатой; из-под кудрей овчины глядели острые глаза с голубоватыми зрачками; оба в вывернутых шерстью наружу бараньих шубах.

– Кизылбашцы⁴³, нехристи, – проговорил Ефим.

Боярин оборвал дьяка:

– Холоп! Спусти не суди: кизылбашцы – те, что парчой торг ведут, эти, думно мне, лязгины!..

Один из горбоносых, выпустив изо рта мундштук кальяна, стоявшего за ковром на столике, закричал:

– Камэnumэк, арнэлахчик! Мэ тхга март! Цахумэнк халичаннер Хоросаниц ев-Парсканц Фараганиц!

Снова бойко и хищно схватил черной лапой с острыми ногтями чубук кальяна и с шипением, бульканьем начал тянуть табак.

– Сатана его поймет! Сосет кишку, едино что из жил кровь тянет... Ей-бо, глянь, боярин, со страшного суда черт и лает по-адскому! – вскричал Ефим.

– Запри гортань! Постоим – пойдем, – упрямо остановился боярин.

Другой горбоносый закричал по-русски:

– Господарь, желаете ли купить девочку или мальчика?.. Еще продаем ковры из Хоросана и Персии – Фарагана⁴⁴.

Первый горбоносый опять крикнул, коверкая слова.

– Сами дишови наши товар! – кричал он гортанно-зычно, словно радовался, что знал эти чужие слова. Тонкий, сухой, с желтым лицом. Бараний балахон на нем мотался, и когда распахивался, то на поясе с металлическими бляхами под балахоном блестел узорчатый ножнами длинный кинжал.

Боярин подошел, потрогал один ковер.

– Хорош ковер – фараганский дело! – сказал тот, что кричал по-русски.

Стали торговаться. Дьяки молча выжидали; только Ефим увивался около – гладил ковры, прикладываясь к ним лицом, нюхал. Боярин приторговал один ковер, черный человек бойко свернул его, получил деньги, заговорил, шлепая по ковру коричневой рукой:

– Господарь, купи девочка... теркская, гибкая, ца! – Он щелкнул языком. – Будит плясать, бубен бить, играть, птица – не девочка, ца! Летает – не пляшет...

Боярин молча махнул рукой одному из бородастых дьяков, передал ковер:

⁴² Камка из Дамаска.

⁴³ Персияне.

⁴⁴ Перевод того, что кричал первый армянин по-армянски. (Фараган – Фергана.)

– Неси, Семен, ко мне!

Дьяк принял ковер.

Черный продолжал вкрадчиво:

– Есть одна... Груды выжжены... на грудях кизылбашски чайечки... на цепочках... Любить можно, дарить можно – матерью не будет... грудь нет, плод – нет... Вырастет, зла будет, как гиена. Можно господарю такая свой гарем беречь – никого не пустит, жон замучит, сама – нет плод и другим не даст чужой муж ходить... Дешево, господарь... девочка...

Боярин, делая вид, что не слышит вкрадчивой речи черного, разглядывал ковры.

– Сами дишови наши товар! – кричал другой.

Ефим, понимая, что этот не знает много по-русски, сказал:

– Ты, сатана, баньян ли грек?

– Нэ... – затряс тот мохнатой головой, – нэ грек, ар-мэнен... Камэnumэк, арнэл ахчик!

– Дьяки, идем дале!

Дьяки поклонились и двинулись за боярином. Ефим подошел к боярину ближе, заговорил быстро:

– Глядел ли, боярин, на того, что по-нашему не лопочет?

– Что ты усмотрел?

– Видал я, боярин, у него под шубой экой чинжалище-аршин, – видно, что разбойник, черт! Продаст да догонит, зарежет и... снова продаст!

– Ну уж ты! Сходно продают... На Москве таких ковров и за такие деньги во сне не увидишь...

– Им что, как у чубатых, – все грабленное... Видал ли, колько в сарае мальчишек и девок малых: все щели глазами, как воробьями, утыканы!

– Да, народ таки разбойник! – согласился боярин и прибавил: – А торгуют сходно...

Под ногами начали шнырять собаки, запахло мясом, начавшим тухнуть. Мухи тыкались в лицо на лету – в этих рядах продавали съедобное.

Бурые вепри, оскалив страшные клыки, висели на солнопеке несниманные, они подвешены около ларей веревками к дубовым перекладинам. Мухи и черви копошились в глазах лесной убоины. Тут же стояли обрубленные ноги степных лошадей, огромные, с широко разросшимися неуклюжими копытами. Мясник, бородатый донец, кричал, размахивая над рогожей-фартуком кровавыми руками:

– Кому жеребчика степного? Холку, голову, весь озадок? Смачно жарить с перцем, с чесноком – обьяденье!

– Ты, кунак, махан ел?

– Ел, – бойко отвечает мясник, – и тебе, казак, не запрещу: степная жеребятина мягче теленка. Купи барана, вепря – тоже есть.

– А ну кажи барана! Пса не дай...

– Пса ловить нет время, пес без рог... Баран вот!

– Сытой, нет? Ага!

– Нехристи! Жрут, как татарва: коня – так коня, и гадов всяких с червью купят, тьфу! –

Боярин плюнул, нахмурился; говоря, он понизил голос.

Дьяки, побаиваясь его гнева, отстали.

Старик, постукивая по камням, пыля песок посохом, шел, спешно убегая от вида и запахов рынка.

– Идет не ладно, а сказать – озлится!

Молодой дьяк ответил бородатому:

– Пушай...

– Озлится! К гневному не приступишь, мотри...

Боярин разошелся в шинки: дубовые сараи распахнуты, из дверей и с задов несет густой вонью – водки, соленой рыбы и навоза. Здесь едко пахнет гнилым, моченым в воде льном.

Старик чихнул, полой кафтана обтер бороду и закрыл низ лица. Отшатнулся, попятился, повернул к дьякам.

Заглядывая боярину в глаза, Ефим заговорил:

– Крепко у нас на Москве, боярин, эким по задам торгуют, чубатые еще крепче, мекаю я?

– Занес, сатана! К церкви идем, а куда разбрелись? Водчий, пес! Где – так востер, тут вот – глаз туп.

– Церковь у них древняя, боярин, развалится скоро. Наши им нову кладут, да они, вишь, любят свое – так тут, подпирать чтоб, столбы к ней лепят.

– Б..дослов! – зашипел боярин. – Кабы на Москве о церкви такое молвил – свинцу в глотку: не богохуль на веру... Я уж тебе!..

Дьяк ждал удара, но боярин опустил посох. Дьяк, сняв шапку, заговорил жалостливо:

– Прости, боярин! Много от ихней бузы брюхом маюсь, ино в голове потуг и пустое на язык лезет.

– Ну и ладно! Тому верю... Только не от бузы брюхо дует – от яства: брашно у разбойников с перцем, с коренем, а пуще того – неведомо, кого спекли: чистое ли? Ты, дьяк, уж с опаской подсмотри за ними...

– Чую, боярин. Дай буду путь править вот этим межутком – и у церкви.

Старик, боясь опередить дьяка, шел, боязливо косясь на шинки, где со столов висели чубатые головы и крепкие, цвета бронзы, руки. В шинках пили, табачный дым валил из дверей, как на пожаре, слышались громкие голоса:

– Рони, братья, в мошну шинкаря менгун!

– Пей! На Волге тай на море горы золота-а!

– Московички насады да бусы⁴⁵ дадут одежи тай хлеба-а!

– Гнездо шарпальников! – шипел боярин.

9

На площади собрались казаки и казачки, мужики в лаптях, в широких штанах и белых рубахах, – к церкви скоро не пройдешь.

Недалеко от церкви возведено возвышение, две старые казачки бойко постилают на возвышении синюю ткань и забрасывают лестницу плахтами ярких цветов.

Боярин тихо приказал:

– Проведай, Ефим, кому тут плаха?

Дьяк от шутки господина с веселым лицом полез в толпу, вернувшись, сообщил:

– Женятся, боярин! Шарпальники московских попов не любят и крутятся к лавке лицом да по гузну дубцом...

– То забавляешь ты! А как по ихнему уставу?

– Стоят, народу поклоны бьют, потом невесту бьют!

– Ты сказывай правду!

– А вот их ведут! Прoberемса ближе, узрим, услышим, не спуста мы – уши да око государево...

– Держи язык, кто мы! Крамари мы... Не напрасно разбойник тако величал нас...

– Ближе еще, боярин, – вон молодые...

На возвышение с образом в руках, прикрытым полотенцем, в синем новом кафтане, без шапки вошел черноволосый Фрол Разин. Следом за ним два видока, держа за руки один –

⁴⁵ Бусы – большие долбленные лодки.

жениха, другой – невесту, вошли на помост, поклонились народу. Фрол с образом отошел вглубь, не кланяясь. Видоки каждый на свою сторону, отошли, встали на передних углах возвышения.

Жених взял невесту за руку, еще оба поклонились народу.

На Степане Разине – белый атласный кафтан с перехватом, по перехвату – кушак голубой шелковый, на кушаке – короткий кривой нож в серебряных ножнах с ручкой из рыбьего зуба. На голове – красная шапка с узкой меховой оторочкой. Черные кудри выбивались из-под шапки.

Невеста – в коричневом платье, на голове – синяя прозрачная повязка: повязка спускалась сзади, ею были перевиты русые косы.

– Шарпаной на ем кафтан, боярин, московской, становой, виранной жемчугами, – зашептал Ефим.

– Пошто толкуешь спуста! Али я покров кафтана не знаю?

Другой дьяк шепнул:

– Чуют нас, бойтесь...

– Еще дурак, – сказал старик, – ништо кому сказываем. – Он все же опасливо оглянулся и, не видя, кто бы ими занимался, прибавил: – Палача бы сюда! Помост налажен, и сидению нашему конец!

Ефим начал громко смеяться.

– Пасись, дьяк, – народ не свой!

Жених на помосте, выставив правую ногу в желтом сафьяновом сапоге, взяв шапку в левую руку, стал креститься. Невеста, глядя на церковь, – тоже. Потом оба поклонились на все стороны. Жених голосом, далеко слышным, проговорил:

– Жена моя, атаманы-молодцы, и вы, добрые казаки, и люди, все вот! Кто не ведает ее имя, тому сказываю: она – Олена Микитишна, дочь вдовицы казака Шишенка...

– А ведаешь ли, казак, что батько твой Тимоша ныне помер?

– Мертвого не оживишь, казак! Что есть – не поворотишь. Ведаю смерть и отца жалею, да гулебщику-казаку дома сидеть мало; отойдет свадьба – снесем упокойного, благо – он в своем дому, и на могиле над ним голубец справим – по чести.

– Женись, казак! Нету время охотнику дома сидеть, слезы ронить.

– Дид древний – во сто лет был!..

Жених повернулся к невесте:

– Олена Микитишна! Будь жена моя, – стану любить и, сколь можно, хранить тебя и дарить буду.

Разин поклонился невесте в пояс.

– А ты, Степан Тимофеевич, будь моим мужем любимым, и только для тебя я придаюсь душой – и телом тебе придамся...

Невеста поклонилась жениху в ноги. Потом встали рядом, глядя вперед на толпу.

Видок со стороны жениха одернул на ремне черкесскую саблю. Его широкая грудь под синим кафтаном подалась вперед, но он молчал, одергивая черные небольшие усы, поправил под запорожской шапкой густые, как у калмыка, черные волосы, заговорил:

– Атаманы, ясаулы и весь народ! Я, Василий Лавреев, прозвищем Васька Ус, казак, ведомый вам, – в охотниках хожалый атаманом, – даю честное слово свое за жениха Степана Разина, в товарищах ратных ведомого, что буду держать его на правду, чтоб он не обижал жену свою Олену Микитишну, и до вас доводить, ежели нечестен с женой будет.

Видок, не кланяясь народу, отошел в глубь помоста.

Кто-то крикнул в толпе на площади:

– Ведомые видоки! Через год, а то ближе, другому невесту полой закрыть придется...

– Там увидим! – ответил еще голос.

Сухой и крепкий, среднего роста, с золотой серьгой-кольцом в правом ухе, поправляя рукой короткий нож на шелковом кушаке, заговорил невестин видок, и голос его зазвенел на всю площадь неприятным и резким звоном:

– Я Сергей Тарануха! От бельма в глазу званный Сережко Кривой, в охотниках хожалый с малых лет, – мою саблю нюхали кизылбаши, турчин, татарва и кайдатские горцы. Ведаю невесту Олену Микитишну честной девкой, буду сказывать без лжи вам, атаманы, народ весь, и мужу ее Степану Тимофеевичу, что усмотрю: худые дела за ей не скрою!

Одернув полу красного, с перехватом, кафтана, видок отошел.

– Разойдутся – суди, кто худ, кто хорош!

– Ладу не будет – не нам судить!

– А ну, цолуйтесь, молодые, да потчевайте народ водкой!

Жених с невестой отступили. На помост бойко вошла старая казачка в плахте, в белой рубахе. В морщинистых руках она держала рогатую кикю, расшитую по розовому желтыми смазнями⁴⁶ с белым бисером. Старая поклонилась жениху, невесту поцеловала в губы и тут же сняла ловко и быстро с головы дочери повязку, скрутила в узел косы и, обнажив шею и уши молодой, прикрыла косы новым убором.

Старая, переменяя убор на голове дочери, говорила громко:

– Уши отомкнула тебе, чтоб мужа слушать! Волосы подбираю, чтоб не мотали, хозяйству не мешали. Люби мужа, Оленушка!

Поклонилась молодому в ноги:

– А ты, Степанушко, люби дочь мою... в строгости держи и не грехи, коли что худое скажут...

– Буду любить, Анна Андреевна!

В красном бархатном московском кафтане со стоячим козырем, расшитым жемчугом и золотом, на помост медленно, степенно вошел сам войсковой атаман. Фрол передал атаману образ. Молодые поклонились в пояс Корнею Яковлеву и образ поцеловали.

Атаман сказал:

– Буду я вам, Степан и Олена, вместо отца вашего Тимофея Рази и нынче прошу к посаженному и хрестному отцу в дом свадьбу пировать!

Передав образ Фролу, атаман повернулся к народу и крикнул громко:

– Пир на пир – живым, а мертвым – память вечная! Вчера пировали, атаманы-молодцы, дела делали; нынче прошу радость делить с моим хрестником, хрестницею и со мной, их батком!

Площадь радостно и буйно загудела.

– Вот те тут все, боярин! – сказал Ефим.

Зазвонил жидко старый колокол церкви Ивана Воина.

Боярин снял мурмолку, дьяки скинули шапки. Младший дьяк, крестясь, думал:

«Ужели старый в церковь пойдет? Как пес, я жрать хочу...»

Боярин по опустевшей площади пошел к церкви.

10

Жгучий день, с белой от света водой реки, ночью затянуло как будто бы стеклянной занавеской. Тени от домов и деревьев легли по белому песку хрустально-зеленоватые. Краски одежд – кафтанов, летних кожухов и пестрой плахты – стали мутно-тусклые. Давно уж большая луна стоит на водянисто-зеленоватом небе. Много огней в доме атамана; из отодвинутых рам из окон плывут дым и пар. Пьяные казаки, казачки, мужики в лаптях, свитках выходят, шатаясь

⁴⁶ Смазни – шлифованное стекло с цветной подкладкой.

и тычась, на крыльцо атаманской избы; с крыльца кто ползет, кто идет, пригнувшись, на двор. А бабы, девки, подпив, собрались под окнами в большой круг, начинают высмеивать невесту:

– Зачинай, односумка!

– Тутотка можно!

Одна запекает:

Как у нас-то на свадьбе
Хмель да дуда-а.
Ду-ду-ду...
Хмель говорит – я с ума всех сведу! —
Дубова бочечка, бочечка, бочечка...
Верчена в ей дырочка, дырочка.
Кто вертел, тот потел да потел.
Стенько, ты не потел, да свое проглядел.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду.

– Стенько, а невеста не предалась! Стенько, гони сюда ее матку – хомут ей наложим, хитрой бабе!

– Зачинай, односумка-а, ты!

– Щё вы, бисовы дочки, по-московицки граете?

– Ой, а московицко жениху любо-о!

Гей, у Дону камышинка заломана.
Старым дидом девка зацелована.
Ду-ду-ду-ду-ду-лу,
Дубова бочечка, бочечка,
Верчена в ей дырочка, дырочка-а!

До основания вздрогнуло крыльцо атаманского дома. На крыльце, топнув ногой, стоял жених, кудри закрывали половину лица, на широких плечах поблескивал в лунном отсвете атласный белый кафтан, залитый на широкой груди красным хмельным медом. В правой руке Разина – пистолет:

– Гей, жонки, и тот, кто позорит мою молодую жену!

Толпа женщин хлынула за ворота атаманского двора, но и дальние слышали страшный голос:

– Того, кто кричит лжу, я зову на расправу!

Он поднял опущенную голову, мотнул ею – лицо бледно, над высоким лбом дыбом встали черные кудри.

– Где ж вы, лгуны?

По двору атамана бродили только пьяные. Разину никто не отвечал. Недалеко от крыльца плясала старуха в рваной плахте. Седые жидкие волосы выбивались из-под плата, закрывали ей лицо; она пела:

Не бийся, матынко, не бийся...
В червонные чоботы обуйся.
Щоб твои пидкивки брежчали,
Щоб твои вороги мовчали.

Помолчав, Разин сказал:

– Не таскать вам, жонки, по городу брачную рубаху Олены... Кто придет за рубахой, того окручу мешком и в воду, как пса! Иное, что старики любят, то мы кончили любить!

Хмуро оглянув двор, Разин ушел в светлицу.

– Уж знать, что кончили! Женихи, бывало, невесты не пили, не ели, а они пьют и едят! – крикнул кто-то.

За полночь было. Шли с зажженными свечами в фонарях, с музыкантами, которые играли на дудках. Атаман Корней без шапки, пьяный и грузный, в бархатном кожухе с кованым кружевом по подолу, в узорчатых зеленого сафьяна сапогах провожал до дому молодых. Степан, обняв за талию свою невесту в голубой кортели, с золоченым обручем по лбу и волосам, шагал твердо, глядел перед собой и молчал. Молодая склоняла ему на широкое плечо детскую голову с большими глазами, иногда тихо спрашивала:

– Стенько, любишь ли меня?

Разин молчал.

– Стенька, ты слышишь?

– Слышу, Олена... молчу – люблю!

На крыльце хаты крестника атаман поцеловал обоих в губы, сказал:

– Любитесь, дети! Ночь хорошая... ночь... Эх! – И ушел...

Дома всю ночь пил вино.

11

Из хаты, где живет боярин, старые дьяки посланы с поручениями. Даже татарчонок, часто прислуживающий боярину, отослан служить на пиру у атамана.

Окна светлицы плотно задвинуты. Дома – двое: боярин и молодой дьяк Ефим. Перед дьяком на столе длинная, клеенная из листов бумага, в руке, для письма, гусиное перо. Откинув иа время спесь, боярин сидит рядом с дьяком на скамье, обитой шкурой черного медведя. На пустом столе горят свечи. Боярин думает. Дьяк молчит. Старик оглянул окна в хате.

– Ино ладно, что окошки пузырем крыты: шарпальники, вишь, разумнее в деле сем наших московских, – те слюду, а нынче удумали многие стеклянные ставить; рубят дырье в стенах мало не в аршин и обрамление к стеклам тонявое приправляют, а все – не к месту.

– Правда, боярин! То не ладно – велики рубить окошки, – тихо согласился дьяк.

– Вот я надумал – пиши!

– «Государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великия и малыя и белыя Руси самодержцу, холоп твой Пафнутько Васильев, сын Киврин, челом бьет! В нонешнем, государь, году августа 5-го дня, по указу твоему, приехал я, государь, сюда и сел у круга войска донеского на корм к Корнейке Ходневу Яковлеву отаману...» Все ли списал толково?

– До единой буки, боярин!

– «А как, государь, сказался я и взялся доводить до тебя про все и вся, то довожу без замотчанья. Город донеской Черкасс, государь, не мал, а на острове, округ – полисад, да порос мохом и инде снизился до земли, башни и роскаты – кои ветхи, а кои покляпились... В городе делены станицы, а курени козацки – в ряд, и промеж огороды – сады... Майдан, государь, широк, и на майдану – церква Святого Ивана Воина, и мало не розвалялась, а строят, государь, от имени твоего кирпичную, да кладут мешкотно, а образы в церкви у них скудны, и не едина образа нет на золотной доске – все на красках. К церкви, государь, козаки не усердны, ходят, как на торгу. Пушек на башнях немного, и думно мне, что донские козаки их пропили, ибо они великие бражники, да им от того страху мало, что пушек недочет, – никто на их город не полезет. Кому, государь, придет охота смертная в осиное гнездо лик и браду пхать? А на майдану и посторонь сего – лари с розни товары, торгуют парчой и ясырем, иманным в Терках

и у калмыки, а торг, государь, ведут кизылбашцы да армяня. Многи шинки, а стоят в шинках жидовя с греком. И как указано, государь, где быти и волю вызволять твоего светлого имени...»

Ладно ли слово, дьяк?

– Какое, боярин?

– «Вызволять».

– Мекаю я, лучше – «вершить», боярин.

– То слово лучше – пиши!

– «...вершить... и как указано мне от тебя, великий государь, и сыскных дел комнатной государевой думы – сыскать заводчика солейного бунта, и я сыскал, сидя ту, и весь их воровской корень, откуда исшел, сыскал же. А корень тот, государь, исшел от прахотного старичонка, вора Тимошки Рази, почетна и ведома у них во многих воровских делах; и старичонка того, вора Тимошку, я, государь, убрал и воровской его язык заклепал, а о том, став на светлые твои очи, не утая, обскажу по ряду». То все исписал?

– Все ладно, боярин!

– «И еще довожу, и думно мне, что наша ту кормильца-поильца Ходнева Яковлева я бы, самого взяв, держал под крепким караулом, да силы на то не имею». Написал?

– Про то про все написано, боярин!

– «С воеводой сноситься – далеко, а ратного уряду, опричь беглых холопишек и смердов, кои в городишке водятся, в сих местах надти не мочно, иных и мочно, да веру дать им опасно... А что, государь, Корнейку-отамана я сужу сильно то сие тако: оный Корнейка примаает, государь, купчин с Воронежа, и купчины те воруют, государь, противу имени твоего: наезжают в Черкасской с зельем и свинцом, а та справа зеленая идет по рукам гулебщиков – охотников на воровские дела на Волге и на море, да и старые козаки, стакнувши с самим отаманом, ворах многую справу дают и воровской прибыток дуванят заедино с ворами же. Да оный же Корнейка, государь, имал с Москвы от сестры государыни и великой княгини боярыни Морозовой ковер, шитой к церкви, а шит на ковре “Страшной суд”, и тот ковер, государь, опялен у Корнейки в поганом месте, где всякие людишки тамашатся, игры играют и где он пиры дает в светлице... А округ нас, государь, едины лишь шарпальники донеские, и хоша имя твое, государь, при нас поминают с почетом, да и непристойных речей говорят немало, а кичатся, что никому же послушный». Ну, дьяче?

– Еще мало – и всё, боярин!

– «Заводчика, государь, сыскал плотно – оный Стенька, сын Рази, в сих местах – свой, среди лихих людей самой лихой и наместной, а Корнейке-отаману родня есть и нынче оженился, ежели сие мочно свадьбой звать, а тако: оповестил на майдану при стечении многого люда себя с девкой, живущих в блуде... По-нашему – сие беззаконие, сысканное без пытки, после чего таковых на Москве по торгам водят нагих и кнутом бьют...»

Боярин долго молчал.

Дьяк сказал:

– Писано о всем том, боярин!

– Не спеши – пиши, дьяк, толком: не к месту бук да ерей не ставь, ижиц, знаю я, много лепишь, – и мне смеялись сколь... За таковое, мотри, мой дубец по тебе пойдет, а время приспеет – и заплечному над тобой потрудиться укажу...

– Были ошибки, боярин! Нынче я письмо познал много...

– Не бахваль!

– «Взять того заводчика Стеньку, государь, силом не мочно, а думно мне, возьму я ево через Корнейку-отамана. Я, твой холоп, государь, улещаю онога отамана посулами: “Мы-де тебя возведем в почести”, и думно мне, государь, что сей Корнейка погнется на нас и вора того Стеньку Разю пошлет на Москву в станичниках, а на Москве, великий государь, твой над ним суд и расправа будет... Прости, государь, твоего холопа, что молвлю слово совестливое, только

братъ, государь, как берут нынче на Пскове воров, что свейскую величество королеву лаяли, не годится – не крепко и людьми убытошно, а как я прибираюсь – тише и много пригоднее. Не осуди, государь, что якобы бахвалюсь. Я только так к слову сие о псковских ворах молвил. А еще, государь, из сюда довожу, что землю сии козаки пашут мало, а кто из шарпальников надежно пахотной, того выбивают из сих мест вон... А пошто у них такое деется, то, слышал я, – воевод и помещиков боятся только на Украине, там много пахотных...» Еще кое-то припишем, дьяк. Все ли по ряду?

– Все, боярин!

– Не оглядел я тебя, как писать зачали, – каки на тебе портки?

– То все ведаю, боярин, за письмом меня пот долит, так я на колешки бархатцы стелил ветхи...

– Смекнул? Ино крашенинными портками всю бы грамоту замарал! Сказывать могу, и не бестолково выходит, а вот подпишусь с трудом... Мы, дьяк, ужо зачем государю писать не хуже Афоньки Нащоки... Нынче же наладить надо Сеньку-дьяка... Бородат, ступью крепок и черевист мало... Пущай до Москвы милостыней идет – с виду голец, с батожком по-каличьему доберется... Надо его ужо обрядить в сукман да ступни и втай переправить через реку... Вожа ему не надо – дорогу ведает. Да еще, Ефим, пиши малу грамоту к воеводам, чтоб не держали ряженого дьяка.

– Так, боярин, всего лучше твою грамоту довести государю...

За окном зазвенели детские голоса. Боярин сказал:

– Дьяк, кто там воеет?

Ефим спешно кинулся и, приоткрыв окно, взглянул:

– Козацки робята, боярин! Вишь, с поля идут, рожи царапаны. не впервой – ежедень в бои играют.

Голоса приближались, задорно пели:

Дунай, Дунай, Дунай,
Сын Иванович Дунай;
Ты гуляй, казак, гуляй —
Воевод лихих не знай...
Гей, Дунай, Дунай, Дунай.

Боярин, вытянув на столе сухую желтую ладонь, сжал ее в кулак:

– У батек переняли песню? Ужо, шарпальники, землю и спины вам распашем и воевод лихих посадим! А ну, дьяк, перечти-ка грамоту, да подпишусь, и припечатаем...

12

Разин сидит в шинке против распахнутой настезь двери. Кудри упали на лицо... За тем же широким, черным от многих питий столом сидят молодые казаки: Васька Ус и с бледным лицом, с шрамом на левой скуле, худощавый, костистый Сережка Кривой. Мертвый под бельмом глаз прищурен, правый остро и жадно глядит; блестит в ухе кольцо золотой серьги. Пьют крепкий мед из смоляной бочки, что у шинкаря за стойкой. Черноволосый грек зорко сторожит казацкие деньги; ждет, когда крикнут: «Подавай!»

Против дверей вдали – палисад городской стены, ровен с землей – белая полоса берега Дона пылит дымной пылью, серебряной парчой светится Дон. Ряд боевых челнов застыл, чернея четко на рябоватом блеске воды.

– Купчины с Воронежа дадут пороху, свинцу! – сказал Ус.

– А тут они, в городе?

- У сородичей, в Скородумовой, есть все!
- А у меня, братья, есть боярское узорочье.

Разин поднял руку с медным кубком и опустил; затрещала столовая доска, вздрогнули стены от голоса:

- Соленой, меду-у!

Грек выскочил из-за стойки, поставил, поклонившись, железный кувшин на стол:

- Менгун, казаки, менгун...
- Сатана! Даром не можно?

Разин кинул на стол талер.

- Узорочье есть, то сказывать нече, – челны набьем свинцом и – гулять!

- Руки есть, головы – на плечах!

- Пьем, братья! Ишь коль серебра на Дону, простору хочется!

– Братья мы, Степан. Руку, дай руку! – Жилистая рука с длинными узловатыми пальцами протянулась через стол. Разин скрыл ее, сжав. Сверху легла широкая лапа с короткими жесткими пальцами Васьки Уса.

- А тож я брат вам, казаки!
- Пей, допивай!
- Допьем, Степанушко!
- А ты, Степан, опасись Корнея, – не спуста отец твой Тимоша не любил его...
- Сережко, знаю я, все знаю...
- Нынче, Степан, тебя в атаманы?
- Можно! Иду...

Мимо дверей всех шинков прошел казак-глашатай, бивший палкой по котлу-литавре, висевшей на груди на кушаке.

- Гей, гей, казаки! К станичной батько кличет...
 - Зряще ходим мы сколь дней – круче решить надо, а то атаман опятит!
 - Не опятит, Серега, гуляем!..
- Встали, пошли, тяжелые, трое...

13

Молодуха Олена, повязав голову синим платком из камки, косы, отливающие золотом, наглухо скрыла. На широких бедрах новая плахта, ходит за мужем, пристает, в глаза заглядывает:

- Ой, Стенько, сколь ден душа болит, – что умыслил, скажи?

Разин – в черном бархатном кафтане нараспашку, под кафтаном узкий до колен шелковый зипун, на голове красная шапка, угрюмые глаза уперлись вдаль.

Старые казаки, взглядывая на шапку Разина, ворчат:

- Матерой низовик, а шапка запорожская, – не гоже такое!

На площади много хмельных, голоса шумны и спорны:

- Стенько, уж с молодой приелось жареное, аль из моря соленого захотел?

- Хороша жена, да казаку не дома сидеть... Олена! Она у меня – эх!

Степан слегка хлопает рукой жену по мягкой спине и хмурится – мелькнуло в голове коротко, но ясно другое лицо: так же трепал на Москве из земли взятую.

- Ну, шапка! – Запорожская шапка высоко летит от сильной руки в голубую высь.
- Слышьте, казаки-молодцы?!
- Слышим!
- Кто за мной на Волгу? Насаду рыбу лови-ить?
- Большая рыба, казак?

– Тыщи пуд!

Полетели шапки вверх: Сережкина баранья с красным верхом – первая, вторая запорожская – Васьки Уса.

– Эх, лети моя!

– А наша что, хуже? Лети!

– И я!

– Чти, казаки-атаманы, сколь шапок, столь охотников!

Звеня литаврой, в станичную избу с площади прошел глашатай:

– Гей, казаки, атаман иде!..

Из приземистой хаты, станичной избы с широким втоптанном в землю крыльцом, казаки вынесли бунчук: держит древко – с золоченым шариком, с конским хвостом наверху – старый есаул Кусей, а за ним еще есаулы и писарь. Все казаки и есаулы, как в поход, одеты в темные кожухи, только атаман Корней в красном скорлатном кафтане; по красному верху его бараньей шапки – из золоченых лент крест. В руках атамана знак его власти – брус⁴⁷. Топорище бруса обволочено черным, перевито тянутым серебром. Все стали близ церкви в круг; сняв шапки, перекрестились. Снял и атаман шапку, входя в середину круга, перекрестился. Когда атаман снял шапку, блеснула в ухе белая серьга, а черная коса с проседью легла на его правое плечо.

Кинув наземь шапки, есаулы положили перед атаманом бунчук и несколько раз поклонились атаману в пояс, – шапки подняли, надели, атаман – тоже. Корней Яковлев тряхнул головой, сказал громко:

– Зовите, атаманы-молодцы, тех казаков, кои самовольством вот уже не один день, не спрося круга, собираются в гульбу...

Круг стал шире, те казаки, что кидали шапки, встали перед атаманом.

Атаман, опустив брус к земле, блеснул серьгой, громко спросил, вода глазами по толпе:

– А знаете ли, молодняк-казаки, что в станичной избе есть колодки, чепа, коза и добрая плеть?

– Знаем, батько!

– Кого в атаманы взяли для гульбы?

– Стеньку Разю – хрестника твоего!

– А ведомо ли вам, казаки, что круг тайно постановил?

– Нет, батько!

– Так ведайте. На тайном кругу Степан Разин взят старшиной в зимовую станицу на Москву есаулом. Почесть немалая ему, и загодя хрестник поедет, привезет от царя на всю реку жалованье, до о вестях наказать, что писали к нам воеводы из Астрахани: «Куды будут походы царя крымского с его ратью?» – о чем через лазутчиков мы накрепко провели. А еще узнать в Москве – время ли от нас чинить турчину помешку или закинуть? О том сами мы неведомы, а потому я, атаман, приказую вам, молодняк, забыть о моем хрестнике, и так как вы по младости неведомы тайных дел круга, то вины ваши отдаю вам без тюремного вязения и не прещу, казаки, гулять: исстари так ведется, не от меня, что казак – гулебщик... И ведаю: не спущу вас, самовольством уйдете. Посему берите инога атамана, гуляйте в горы, в море, куда душа лежит...

– Добро, батько! Благодарствуем.

– Берем Сережку!

– Кроме хрестника – не прещу! Ты же, Степан, не ослушайся круга, круг не напрасно под бунчук вышел. Иди домой и исподволь налаживай харч, воз и кони, – падет снег, старшина позовет.

Разин молча махнул шапкой, выйдя из круга, обнял жену:

⁴⁷ Брус – особый длинный молоток, знак военачальника.

– Домой, Олена!

Олена сорвала плат с головы, махала им, поворачивая радостное лицо в сторону атамана. Атаман пошел в станичную избу, только на крыльце, отдав брусь есаулам, снял шапку и в ответ на приветствие молодухи помахал.

– Иди, жонка! Продали меня Москве, а ты крамарей приветишь.

– Ой, Стецько, сколь деньков с тобой!.. Спасибо Корнею.

– Женстя душа и петли рада!

Плюнул, беспечно запел:

Казакi гуляють
Да стрелою калекой
За Яик пуцають...

Опустив голову и скрипя зубами, скомкал красную шапку в руке:

– Дешево не купят Разю!

– Ой, Стенько, боюсь, не скрегчи зубом... Ты и во сне скрегчишь...

Москва боярская

1

Светловолосая боярыня сорвала с головы дорогую, шитую жемчугами с золотом кичу, бросила на лавку.

– Ну, девки, кто муж?

– Тебе мужем быть, боярыня!

– Муж бьет, а тебя кто бить может? Ты муж...

С поклоном вошла сенная девушка.

– Там, боярыня Анна Ильинишна, мирской худой человек тебя просит.

– Чернцов принимаю... Иным закажи ходить ко мне.

– «Был-де я в чернцах, ведает меня боярыня...» – слезно молит.

– Кто такой? Веди!

Привратница ввела худого, тощего человека в рваном кафтане, в валеных опорках. Человек у порога осел на пол, завыл:

– Сгноили, матушка княгиня! Лик человеческий во мне сгноили, заступись.

– Кто тебя в обиде держит, Василий?

– По патриаршу слову отдали боярину головой в выслугу рухледи!

– Какой рухледи?

– Ой, милостивая! Ни душой, ни телом не виноват, а вот... Поставил, вишь, на наше подворье боярин Квашнин сундук с печатями, в сундуке-то деньги были – тыща рублей, сказывает, да шапка бархатная с дужкой, с петелью большой жемчужной, да ожерелье с пугвицы золотными, камением. И все то с сундука покрали. А я без грамоты, мужик простой – едино что платье монастырско... И не мог я к боярину вязаться – оглядеть дать, что там под печатями, цело ли?... И ни душой, ни телом, а по указу патриарха содрали с меня черное, окрутили во вретнице, выдали боярину, а Квашнин Иван-то Петрович, озлясь много, что не по ево нраву суд решил, что не можно ему с монастыря усудить тое деньги его и рухледи, говорит: «Буду я на тебе, сколь жив ты, старый черт, воду возить с Яузы, кормить-де не стану, – головой дан, что хочу – творю по тебе!» И возят, матушка, на мне замест клячи не воду, а навоз – в заходе ямы, и столчаки чищу и всякую черную работу. Пристанешь – бьют батоги, не кормят, не обувают. Вишь, на мне уляди ветхи, так и те из жалости купец гостинные сотни Еремов дал, что ряды у Варварских ворот... А Квашнин-боярин, не оправь его душу, как бывает хмелен, в шумстве, – а бывает с ним такое почесть ежедень, – кличет меня, велит рядить в скоморошью харю, рогатую, поганую, велит мне играть ему похабные песни да ползучи лаять псом, а голосу мово не станет – пинками ребра бьет и хребет ломит чем ни попади... Боярыня же его, Иванова Устиния Васильевна, пьяная, в домовою байны, что у них во дворе у хмельника, раз, два в неделю, а и более лежит на полке, девки ее парят, да зовет меня тож парить ее, а в байны напотдаванно, аж стены трещат; я и малого банного духу не несу, с ног меня валит от слабости, сердце заходится, и как полоумный я тогда деюсь. «Парь, сволочь! Игумна парил – парь, я повыше буду». И паришь, а она экая, что горя мясная... И тут же, в байны, все немичнее в бадью чинит и тайные уды именует по-мужичьи. А воду таскаешь до того, покуда не падешь, а падешь – в байны ли, в предбаннике, – она из тое бадьи велит меня окатить и кричит криком матерне: «Вот-де, голец, благодать духа свята!» А вретнице не велит скидать, паришь ее в одежке... И бредешь, не чуя ни ног, ни главы после всего того, в угол какой темной, дрожишь дрожмя, свету божью не рад и не чаешь конца аду сему... Хоть ты, светлая княгинюшка, умилостивись над стариком.

– Не княгиня – боярыня я, Василий! Но как я вступлюсь! Сам знаешь: противу царя да патриарха сил нет.

– Ой, матушка княгнюшка! Попроси боярина Бориса Ивановича – пуцай Квашнина-боярина уговорит: пошто вымает из меня душу? Пошто гноит во мне лик человечесий?

– Не забуду, Василий. Иди, скажу Борису Ивановичу!

– Земно и слезно молю, матушка!

Старик ушел.

– Ну, девки, зачинай...

– А вот те скамля, боярыня, ляжь-ко, ручки сложи.

Боярыня легла на скамью, крытую ковром, к правой ее руке девки положили плеть. Встали кругом скамьи, запели:

Мой-от нов терем
Растворен стоит.
Мой-от старой муж
Во гробу лежит...
Мой-от старой муж
Из гроба встает,
Из гроба встает,
Жонку бить почнет...
Стару мужу я
Не корилася...

– Вставай, боярыня! Бей плеткой жену.

В горенку вошла мамка Морозовой, крепкая старуха с хитрыми, зоркими глазами. Она в кике с крупным бисером, в коричневом суконном опашне, расшитом по подолу светлыми шелками.

Стуча клюкой, кинулась на девок:

– Курвы! Трясуха вас бей, ужо как пожалует, возьмет боярин, на съезжую сдаст, – там не так плетью-то нахлещут, а ладом да толком... И тебе, матушка боярыня, великий стыд есть дражнить боярина Бориса-то Иваныча. Холит, слушает во всем тебя, налюбоваться не знает как, – еще, прости бог, скоро киоту закажет да молиться тебе зачнет. Пуще ты ему самого патриарха... А кто тебе дарит листы фряжские, говорящих птиц заморских и узорочья? Ты ж, Ильинишна, и мало не уважишь боярина, ишь игру затеяла! Ведаешь, что боярин за то и сесть стал, что печалуется, как лучше угодить тебе?.. Ведаешь, что слова о старом муже не терпит, а как разойдется в твой терем, да послушает, да озлится, – тогда что? Мне – гроза, тебе – молонья?

Старуха замахала клюкой и снова кинулась на девок:

– Пошли отсель, хохотухи, потаскухи!

– Ну, мамка, не играем боле, не гони их, а вот пришла, так сказку скажи, мы и утихнем...

– Сказку – ту можно... Отчего, мати Ильинишна, сказку не сказать?

Мамка с помощью девок залезла на изразцовую лежанку:

– Скамлю дайте!

Девки поставили скамью, старуха на скамью плотно устала ноги, склонила голову, упершись подбородком на клюку, заговорила:

– Жил это да был леновой мужик, и все-то у него из рук ползло, никакая работа толком не ладилась... Жил худо и вдово – бабы замуж за него не шли... Была у того мужика завсегда одна присказка: «Бог даст – в окно подаст!» Спит это леновой мужик, слышит, во сне говорит ему голос: «Ставай, Фома! Иди за поле, рой под дубом на холму – клад выроешь...» Проснулся

леневой мужик, почесался, на другой бок перекатился и опять храп-храп. Сызнова чувствует тот же голос: «Ставай, Фома, иди рой!» Сел мужик на кровати, а спать ему – любое дело... клонит ко сну. За окном и заря еще не брезжит, второй кочет полуночь пропел.

«Пошто я эку рань!» Лег и опять спит, а голос это в третий раз зовет, да будто кто мужика в брюхо пхнул. Встал-таки леновой, ступни⁴⁸ обул, завязал оборки⁴⁹, в сенях это лопату нащарил и с великой ленью на крыльцо выбрался. А у крыльца это стоит купчина корыстной, – всю-то ночь сердешный маялся, не спал, ходил да от лихих людей это анбары свои караулил, – и спрашивает ленового:

«Пошто ты, Фома, экую рань поднялся?»

«Да вот, – сказывает леновой, – сон приврался трижды: “Ставай, поди рой на холму на запольи клад”. А мне до смерти неохота идтить... Вишь – сон, кабы человек какой сказал про то, ино дело!»

«Давай схожу! Озяб. Покопаю, согреюсь, – говорит купчина, а сам это на зарю глядит, думает: “Скоро свет. Лихих людей не опасно”...»

Отдал мужик купцу лопату, сам это в избу – и спать. Купчина холм сыскал, дуб нагляддел, рыл да рыл и вырыл дохлую собаку.

Обозлился это купчина:

«Где – так разума нет, а над почетными людьми смеяться рад? Так я уж тебе!» И поволок, моя королевна, заморская мати, тое пропадужину в деревню, волокет, а в уме держит: «Тяжелущая, трясуха ее бей!»

Приволок это купчина под окошко леновому Фоме да за хвост и кинул дохлое, а оконце над землей невысоко – угодил в окно, раму вышиб и думает: «На ж тебе, леновой черт!»

Пала собака на избу и вся на золото взялась. От стука скочил это Фома:

«Никак мене соцкой зачем требует?»

И видит – лежит по всей избе золото... Почесался мужик, глаза протер, сказал:

«Значит это – коли Бог даст, то и в окно подаст».

– Ох, мамка! Лживая сказка, а потому лживая, что мало Бог подает... Ныне же приходил ко мне старик Василий, боярину Квашнину патриарх его головой дал, а боярин довел старика, что еле стоит. И думаешь, не молился тот Василий Богу и угодникам всяким? Да что-то ему не подает Бог!

– Ты, мати Ильинишна, королевна моя, пошто такое при девках сказываешь? А ну как они сдурна кому твои слова переврут, да их поволокут, а они повинятся: «От боярыни-де тое речи слышали». Патриарх да попы – народ привязчивый, за веру не одного человека в гроб уклали...

– Ништо со мной будет, мамка, а вот скушно мне! До слез скушно...

– Ой, о Боге, королевна, заморская мати, не кощунь так! При чем тут бог? Кому что сужено, то и корыстной купчина не уволокет, а к дому приволокет... Старику же тому, видно, планида – в беде быть. не любит народ монахов, ныне еще жалобились государю: «Народ-де в нас палками кидает, когда идем круг монастыря с крестом, с хоругвью». А кого народ не любит, тот и Богу не угоден.

– Не любит, мамка, народ воеводу, бояр не любит – значит, и Бог не любит их?

– Ах, мати Ильинишна! Запутала ты мою старую голову... Воеводы, бояре царю служат, монахи – Богу, а что деют? На виду пост постят, втай творят блуд, а корыстны, а народ в крепость к монастырям имают, а деньги в рост дают. И давно ли то время ушло, когда монахи-чернцы шумство великое водили, на ярмонках водкой торговали? Видно, тому Василию так и надо...

⁴⁸ Ступни – лапти.

⁴⁹ Оборки – бечевки, закрутки.

– Да, мамка, кабы тот старик игумном был! А то простой мужик, неграмотный, от воеводиных потуг, может, и в монастырь шел, а сказка твоя ленивого хвалит – ленивый и сказку уклал.

– Того не ведаю, Ильинишна! Что придумалось, то и сказалось...

– И невеселая... Лучше новедай-ка, что на Москве слышала?

– Ой, уж вот, моя королевна, нашла веселого в Москве! Скажу, только слушай: перво – питухи с кабаков шли да на бояр грозилась, а их за то сыщики Квашнина боярина в Земской волокли батоги бить... Да жонке блудной – Улькой звать – голову ссекли: родущего своего удушила. Москва – она завсегда такая. Что в ей веселого? В Кисловке царицын двор – и трое ворота, у них решеточные сторожи, а кабатчика да питухов сыскали да вдову Дашку, царицыну постельницу, изловили – поди, и ты ее, Ильинишна, знавала? Ера такая, развеселая, говорливая...

– Знала Дарью – жаль, что с ней?

– Ширинку государеву заговаривала, будто и царицын след вымала...

– Мучат людей по наговорам пустым – не верю я, мамка, в порчу!

– В порчу не веришь? Ой ты, королевна писаная, порча – лихое дело! Ну, еще про веселую Москву тебе скажу. В слободе, что от Арбатских ворот до Никитских, все истцы перерыли – сыскались там грабежники многи, а ставили воры шарпаное на пустой немецкий двор, что стоит за Никитскими вороты, а грабежникам подводчики были: решеточный сторож с Арбата да пристав Судного приказу подводили на тех, кого грабить! Кнutoбойство им великое ныне, да по битой спине веники огнянные парят...

– Ой, мамка! Как много этого кнutoбойства!.. Одного худого сыщут – десяток невинных убьют...

– И, мати Ильинишна, а как по-твоему – воров надо миловать? Сытой их медовой поить да по головке гладить?

– Говорила я Борису Ивановичу: худо это – бить. А он мне: «Берем меру из-за моря – там людей пытаются и жгут покрепче нашего...» А все оттого худо у нас, что ничего мы не знаем ни о солнце, ни о небе, ни о вере чужой и народе не нашем, – попы нам знать о том не дают... Скажи, послов каких не видала ли?

– Нету новых, мати Ильинишна. Немчины – так те давно живут, а кои из них нынче в кизылбаши поехали, да тут кой день донеские казаки станишников своих прислали к государю за жалованьем, за хлебом, справом всяким... Да стой-ко, мати Ильинишна! Давно я тебе сказать ладила, а все с языка увертывалось: народ молыт, есть-де с теми станишниками тот, что в солейном бунте был и шарпал тогда сколько добра твоего, морозовского, а был он в отама-нах... Вот бы проведать ладом те речи, поразузнать людей, которые приметы его помнят, а ты бы, мать, словечко шепнула боярину Борису-то Иванычу, уж боярин сыщет через Квашнина Ивана Петровича, тот в Земском сидит... Коли заводчик тута, а сыщут его, то честь-то тебе какая будет! Первая проведала! Сам бы царь-государь тебя за твое дело возвеличил.

– Ты, мамка, мекаешь, что для поклепов людей на Москве мало? Думаешь, что меня там недостает? Говоришь – тот, что в солейном был атаман?

– Тот, моя королевна, тот!

– Вы, девки, подите к себе! Играть сегодня не станем.

Девки ушли. Боярыня сама заперла за ними дверь в светлицу, вернулась, села на скамью к ногам мамки, опустила голову.

– Голову вешаешь, и очи мутны, уж не сглазил ли тебя кто, моя Ильинишна, скажи-ко?

– Пустое это, не верю я в призор, мамка!

– Призор-от пустое? Нет, голубушка. Худой глаз – спаси бог.

– Не любит меня никто, мамка! Душно, скушно в терему... на волю бы куда... Хоть с каликами подти?

– Да ты с чего это, моя королева? Что ты, Ильинишна, мать? Да нешто мало тебе любви, ласки от боярина Бориса-то?

– Горючее у меня сердце, мамка, как смола на огне.. Сжигает меня мое сердце, а стар ведь он, муж...

– Ты сгоряча, дитятко, не скажи ему такого – спаси бог! Любит он тебя, собой не дорожит – во как любит! И я тебя люблю... с малых лет люблю... Царицу-то Марью мене люблю я... Ты мной пестована, байкана, – ой, ты! Я за тебя хоть седин помереть готова.

– Живи, мамка! Пошто тебе за меня помирать... А вот скажу, – боярыня подняла голову, – говоришь: «Взведи поклеп на казака, что в соленном бунте был». А мне вот его охота видеть здесь, у себя в светлице, спросить обо всем самого...

– Да ты сотвори, боярыня, Исусову молитву, – змия-аспида зреть своим глазом хошь! Как он убьет тебя? Ведь он ведомой душегуб, ежели он тот отаман солейной, станишник, шарпальник... огонь заразной, болеть люта – трясуха его бей!

– Чуй, мамка! Кабы не тот казак, меня бы тогда убили: он не дал... не убили бы, спалили терем... Я же была недвижима... Теперь мне памяты его слова: «Спи – не тронут, не спалят!» Больна я была, но парчу, каменья дорогие и лица видела ясно, яснее, чем ныне вижу... Глаза его помню – страшные глаза...

– Как же ему, боярыня Ильинишна, тебя было не сохранить? Такое затеял, грабежник! Еще бы – рухло боярское расхитили, да еще бы и тебя, хворую, кончили...

– Кто грабит, мамка, тот не думает и не боится, – в толпе грабителей одного виноватого нет: вся толпа виновата и не виновата... как хошь – суди...

Боярыня снова уронила голову на грудь. Старухе показалось, что она плачет.

– Ой, что ты, Ильинишна? Уж не привести ли тебе колдовку Татьянку? Может, наговор какой? Вот уж истинно, что и золото тускнеет и жемчуг бусеет порой.

– Хочу глянуть на него! Может быть, расскажет мне такое, что я развеселюсь, успокоюсь. Ведь он – не мы! Он вольный – в горах, в море бывал, в степи без конца-края... горы выше облаков! Море – океан неведомый – степь – целый свет голубой да зеленой, и всякая там тварь живет, малая и большая... Барбы⁵⁰ полосатые... в облаках орлы – крылы сажень, а клюв – что железный.

Боярыня порывисто встала, начала ходить по светлице.

– Приведи его, мамка! Сыщи... хочу его видеть... Подарю тебе, что попросишь, и поверю, что жалеешь, любишь меня. Хоть ты люби меня... Девки – те, я вижу, прелестничают, кланяются, а боятся меня и не любят.

– Ой ты, королева моя! Немысленное говоришь, а как проведает про то, что ты через меня в светлицу водила шарпальника, Борис-то Иванович? А что проведает – то, скажу тебе, все ему будет сказано, и что меж тобой и разбойником говорено было. Ежели, мать, не пустое народ говорит, что он – тот отаман солейного бунта, так, ты думаешь, бояре без пытки его оставят? Да век такого не бывало, а как он под кнутом да огнем висеть будет, думаешь, не скажет, где у кого был и что с кем говорил? Тогда мы куды денемся?.. Ну, ты-то, пожалуй, за стеной – боярин-муж заступится, а я куды? Страшно ведь на виске жисть без покаяния кинуть! Ведь я, что былинка на ветру, – одинока, и душа от страху улетит. Ведь бьют-то с трех кнутов, – из человека кровь – с головы до пят!

– Я за стеной, сказываешь ты, ты за мной – я твоя стена! Никого, ничего не боюсь... Боюсь сидеть в терему, с тоски пить меды хмельные, шить без толку, без надобы в пялах или по церквам ходить, попов да нищих слушать – и то много опостылело душе. Любишь меня, мамка, то иди за меня – сыщи, приведи его скоро!

⁵⁰ Барб – барс.

– Вот я на свою голову глупую нажила беду – вынь да положь! Ума ты решилась, Ильинишна... А где еще те козаки живут? Может, стоят в слободе дальней, ино они, козаки, – не мы, господские люди... Поди-кось станут они смирнехонько в хоромы сидеть, чай, все разбрелись по Москве! Ночь лихих людей не держит, а манит... Колоды, решетки в улицах – нипочем, сторожи их боятся... С пистолем, с саблей такого не поволокешь в губную избу⁵¹, да и сами-то сторожи – им потатчики... А где продтить нельзя, там лихой человек пустым двором пролезет, сказывали люди... Сыщи-ка скоро такого козака... Нет, Ильинишна, королевна, не спеши, потерпи с эстим свиданьем...

Боярыня топнула ногой:

– Хочу видеть скоро! Хочу! – Она прилаживала кикю, взятую с лавки, на голову, бросила кикю о пол. – Чуешь меня, мамка!

– Чую, королевна заморская! Чую, Ильинишна... Смысленного кого налажу за тем змием в ход. Господи прости, вот напасть-то навела себе на голову, а страх на душу старую!.. Ой, мне беда неминучая! Иду, боярыня.

Стуча по полу клюкой, старуха спешно ушла.

2

Беззвучно пригнетая к полу ноги в сафьянных сапогах без подковок, вышел из дальних горниц Юрий Долгорукий. В столовой горнице с синими без цветов стенами между окон, у горок с серебром, стояли два молодых подручных дворецкого в белых парчовых терликах. У стола застыл неподвижно сам дворецкий – седой, почтенных лет. На столе много трехсвечных шандалов. Стол голубеет скатертью из камки, концы скатерти шиты серебряными травами с золотыми копытами. Воевода, перекрестясь, сел к столу, ястребиные глаза скользнули по золоченым братинам и кушаньям на серебряных блюдах. Он, видимо, нашел все в порядке; одно лишь молча показал рукой в перстнях на огонь свечей. Дворецкий бойко отыскал в кармане доломана съемцы, торопливо снял нагар.

– Сказать холопям, что у дверей: боярыня Киврина пустить – иных никого!

– Указано, князь.

– Чтоб проводили боярыня сюда!

– То им ведомо, князь.

– А столбов тех пошто наставил? – Воевода повел рукой в сторону слуг у серебра.

– По чину, боярин-князь!

– Сегодня без чина.

– Подьте вон! – махнул молчаливым слугам дворецкий.

– И ты, Егорка, за ними; позову – жди!

Дворецкий поклонился, касаясь пальцами пола, ушел.

Застучал посох, и, сгибаясь в низкой двери, гость сверкнул лысиной.

«На то дверь низка, чтобы хозяину кланяться...» – подумал Долгорукий.

Шумя парчовым широким кафтаном, в горницу пролез Пафнутий Киврин, выпрямился, опираясь левой рукой на посох, правой перекрестился на киот с образами в углу, сказал негромко:

– Челом бью! Здоров ли, князь и воевода?

– Спасибо. У меня без мест – садись, боярин Пафнутий Васильич: гостю рад.

– За экую благодать пошто не сести? Сяду, князь Юрий...

Желтая рука Киврина простерлась в сторону яств.

– Ну, уж коли то благодать, надо почать с нее – вот фряжское, боярин.

⁵¹ Губная изба – изба, в которой вершились разбойные дела; такие избы бывали только в провинции.

– Ой, князь Юрий Алексиевич, чем почстvusшь, того съедим и изопьем.

– Чествую всем, во что, боярин, твои глаза глядят и куда рука забредет. За моим столом не будь гостем, будь хозяином. Служить некому, холопей услал я: лишнее ухо нашим сказкам не должно внимать...

– Ой, и разум у князя Юрия, вот уж люблю таких! Такими, как ты, князь Юрий, жива наша мать-Русия...

–пей еще, боярин Пафнутий! Мне наливать далеко – трудись сам.

– Ныне много пить не могу, князь Юрий, – годы – столь ли веком пил? А теперь чашу критского – и аминь старику.

– Не государев ли на тебе кафтан, боярин?

– Добротная парча и соболь молью не бит – югорской. Дай бог государю-царю веку и здравия: не забывает холопа Киврина Пафнутку. А на тебе, князь, кафтан становой с большим камением, то, вижу, родовой Долгоруков?

– Родовой. Узнал, боярин. Ну, Пафнутий Васильич, за царское здравие!

Князь встал с чашей в руках, встал и старик – волчьи глаза спокойно глядели в лицо князя.

– За государя-царя и великого князя Олексия Михайловича, князь, пью!

Выпив, оба перевернули пустые чаши себе на голову.

– Пью за царицу, боярин!

– За царицу и великую княгиню Марию Ильинишну! Боюсь, князь Юрий, не упомнит старая голова, что хочю довести тебе и от тебя послушать.

– Доведешь! За царицу пью, боярин.

– За ее здравие, князь Юрий!

– Надо бы за род государев, но боюсь огрузить. Сядем-ка, Пафнутий Васильич.

– Сядем, князь Юрий, и вот уже хмелен я!

– Зазвал я, боярин, на вечерку не спуста... Ивашка Квашнин много ропщет на тебя, Васильич... Он подбивает изветами в том же Морозова... Морозов – сказывать нече – свои у государя, и Морозову, тоже ведаешь ты, дана воля от царя вершить деда разны...

– Того дознался я, князь Юрий; едина не познал: пошто Ивашке Квашнину пало в голову на меня грызтись?

– Неведомо тебе, боярин? Я ведаю...

– Слушаю, князь.

– Сказывает Ивашка, что ты, боярин, якобы сыскных дел людей у него, кто пригоднее, переметываешь и во все дела сыскные вступаешь.

– Ну, не охул ли то, князь Юрий? Куды я лезу? Мои людишки – настрого-опознано – не зовутся сыскных дел приказу... Зову я их истцами... Истец – слово всем ведомое, и по слову тому – дела, а тако: вязнут мои людишки, как истцы с тяжбой – татиные мелкие порухи ведают, явки подают воеводам где случится, сами николи не вершат... Квашнина люди ведают много «слово государево», и платышко на людях показывает их власть. Квашнина люди в кафтанах стрелецких цветов: будто Яковлева головы приказу – в червчатых, иные в голубых – приказу будто те Петра Лопухина, и шапки стрелецкие, едино что без бердыша... На моих – скуфы шапки, на плечах сукманы сермяжные, домашняя ряднина и протчая ветошь мужичья.

– В то не вникаю я, боярин, но упреждаю: хочет тебя Морозов охаять перед государем. Охулка пойдет с того, что-де «грамота Киврина многую лжу имеет»! В отъезде грамота писана тобой, а какая, того не пытал я.

– Вот спасибо, князь Юрий! Грамота не иная, как та, что писана мной с Дона о шарпальниках. Вот уж свой ты мне, князь Юрий! Свой, близкой...

– И ты, боярин Пафнутий, мне свой!

– И еще спасибо, князь Юрий Алексиевич...

– Русь, Васильич, оба мы любим!

– Ой, уж что говорить! Любим, князь Юрий, и хотим роду царскому благоденствия и служим мы с тобой, Юрий Алексиевич, не для ради чинов, посулов и жалованьишка – ведь я стар и един, на што мне диаманты⁵² и золото? А слышь-ко старика, князь!

Киврин оглянулся кругом, подвинулся на скамье, заговорил тише:

– Давно ли, князь, был у нас тутотка соленной бунт? Нынче еще не загас бунт во Пскове, переметнулся в Новугород, и много бунтов я вижу, когда в пытошной башне секу и жгу воров, – много, князь! А потому их много, что воеводское кормление и судейские посулы из смерда выколачиваются безбожно сугубо, а государю про все про то мало ведомо... Разве, князь Юрий, один на Руси судья Плещеев, коего чернь растащила на Красной по суставам? Ой, не один! Свои же, кто над воеводами оком государевым ставлены, таят их дела. Вот тоже в Арзамасе на будных станах⁵³ боярина Морозова поливачи да будники в ярыгах, а спят где? В хлевах скот басче пасется... Корм им – мясо с червью, хлеб с песком... Ряднина на плечах от поташа горит, одежда своя, а где ее взять? Что заработают – до гроша в кабак. «Питухов от кабаков не гоняти» – закон! Да они на Волгу поташ в бударах правят... А Волга – ширь, разбой. Козаки – обок, стрельцы беглые... По Волге кабаки деньгу ловят, что ни село – кабак!.. Это, князь, не огонь для бунтов?

Долгорукий мрачно улыбнулся:

– Стар, боярин, а далеко зришь.

– Не молод, князь Юрий, да, видишь, не спуста дано прозвище мне Волчий Глаз. Не приметили только, что и нюх мой тож волчий: вижу, князь, по Руси далече.

– Водка, кровь, страх – иного, боярин, с крамолой пособника не надо, водка руки, ноги вяжет – пытка, огонь, кнут... и вино...

– А я сужу, князь, кто опился – какая от него подмога, работа какая?

– Так думаю, Васильич, и думать буду и говорить: водка язык даст и дела тайные откроет!..

– Ну, ино кинем!.. Ты, князь, ведомый гаситель бунтов, не у меня учиться тебе... И знаю, что надумаешь, князь, то не кичливой головой спуста, а светлой, и ежели будут вместе мои малые советы, а твои думы, князь, то оберегем царя от тех, что без разума на вид забегают...

– Ты, боярин, обещал поведать особое.

– Вот вишь, князь Юрий, слова твои – что сон в руку. Квашнин Морозова подговорил, и Морозов уж подходил к государю – да не тот был час, – сказать ладил: «Киврин-де много о Дону исписал нелепое». А ты верь старику, князь.

– Верю, боярин!

– Что же я напусто жил, время играючи изводил с козаками? Не щадя головы, пасть был готов с камнем в воду? У шарпальников это скоро...

– Слушаю, боярин.

– Живя там, князь Юрий, познал я их воровской корень, а корень тот от имени государя я вырвал, да у него пущены три отростеля: Иван, Степан и Фрол – Разины... Не ведаю Ивана, Фрол еще детина млад, а Степана, князь, знаю... ой, знаю! Суший заводчик бунтов: таких надо имать и изводить... Такие, князь Юрий, содрогают землю! Ты, князь, нынче не у дел, неведомо тебе от Сысского приказа, кто завел солейной бунт?

– Слыхать-то слышал, да то без меня шло...

– Солейной бунт завел Степан Разин. Тайным обычаем от государя был я послан на Дон по сыску заводчика... Вот тут зримо, пошто Ивашка Квашнин грызется, через Морозова прознал: «Ему-де удалось оно».

⁵² Диамант – алмаз.

⁵³ Будные станы – поташные заводы.

– Сказывай, боярин, и я кое-что доведу тебе!

– Да сказал я все, Юрий Алексиевич... Мало не сказал, что харчился у отамана Ходнева Яковлева Корнейки, что оного Корнейку сговорил послать того заводчика Стеньку на Москву. Ведомо, знаю, князю, что ныне к Москве зимовая станица пришла, и заводчик есть в есаулах той станицы... Тако все...

– Имею я довести тебе, боярин, – вот: в ляцкой⁵⁴ войне в моем стане служил в станичных атаманах Иван Разин...

– Князь Юрий, а где же он нынче?

– Слушай дальше, боярин! Подговаривал тот Разин казаков, что, дескать, напрасно мы тут время изводим; побьем воеводу – дорог на Дон многое. Прознал я его помыслы и сговор, воровского того атамана взял под караул, а рядовых казаков отпустил без обиды.

– В твоих ли руках, князь Юрий, нынче оный воровской отаман?

– В моих, боярин... И кончать с ним я не торопился, никто не ведает того, где он, что с ним... Мекал я кончить скоро, передумал – нет ли от него корней во Пскове или на Волге? Теперь знаю: завтра передам Ивана Разина тебе в Разбойной, и ты верши с ним, но не без пытки, Пафнутий Васильич.

– Экое счастье! Сама благодать в мудрости твоей, князь Юрий. Так выпьем же за твое долголетие, Юрий Алексиевич, и не боюсь я, старичонко, что захмелею, что надо мне еще дела вершить. Толково берусь дослушать все, не как бражник кабацкой... Свет тебя неизреченный осиял...

– Вот, боярин, критское, две чаши, – ну, во здравие!

– Ой, князь! То не гоже, позвоним-ка сперва чашами в твое долголетие!.. Вот так! Пью...

Старик хлебнул чашу крепкого вина, упал на скамью, закашлялся, схватил со стола чего-то, сунул в рот, медленно прожевал, отдышавшись, заговорил:

– И вот чего, князь Юрий, худым умишком я надумал: ладнее, чем нынче, время не искать! Покуда не охаял меня Морозов государю – взять заводчиков Разиных – вершить?

– Думаю о том же и я, боярин!

– Ивашку, князь, дошлешь, а Стеньку мои люди сыщут, сволокут в Разбойной... Ой, вишь, пора мне, Юрий Алексиевич, и век бы сидел с тобой, да заплечные работы ждут.

– Трудись о Руси, боярин, на дорогу прими совет!

– Все принимаю, князь, только скажи!

– С Ивашкой Разиным не чинись – верши... Отписку по делу тому дадим государю после – беру на себя. Другова хватай тайно, без шума. Ранее, чем кончить с бунтовщиком, доведи боярину Морозову: так-де и так – заводчик солейного сыскан, суд вершим, отписку по делу – после пытошных речей... Тихо с бунтовщиком надобе оттого, что послан он войском, чтоб не было на Дону по нем смятенья, в чем, коли будет такое, обвинят, очернят нас...

– Так, князь Юрий! Так, то истинно...

Боярин вышел. Князь, проводив боярина до дверей горницы, крикнул:

– Егор! Наряди людей, боярину к возку огонь, в пути стражу...

Из глубины комнат голос ответил:

– Не изволь пещись, князь!

3

– Православные! У нас пироги, пироги горячие с мясом, – лик, утробу греть... зимне дело...

⁵⁴ Ляцкий – литовский, польский.

Торговец около лотка приплясывает в больших запушенных снегом валенках, поколачивает о бедра кожаными рукавицами. Бородатая толпа в заячьих кошулях, в бараньих шубах проходит мимо... Иные в кафтанах, в сермяжном рядне.

– Пирог-и с мясом!

Из толпы высовывается острая бороденка:

– Поди, со псинкой пироги-то?

– Ты, нищий, сам поди к матери-и!

– Кому олады? Вот олады! – кричит бас от другого лотка.

Толпа месит снег валенками и сапогами, торговцу с оладьями задают вопрос.

– Должно, перепил, торговая?

– Я. чай, русской, не мухаммедан – пью!

– Песок, крещеные, с горы Фаворской с Ерусалима! От кнубойства и от всяких бед пасет...

– Эй, черна кошуля! Продавал бы ты мох с Балчуги в память первого кабака на Москвы...

– Еретик! Не скалься чад святым, ино стрельцов кликну.

Все глубже по узким кривым улицам снег. Прохожие черпают голенищами валенок белую пыль, садятся на выступы углов, на обмерзшие крыльца, выколачивают валенки, переобуваются... А то бредут почти разутые, в дырявых сапогах, в лаптях на босу ногу, – этим все равно.

В уступах домов – много торговцев с лотками: продают большие пряники на меду с изюмом, сухое варенье из черной смородины, похожее на подметки, калачи, обсыпанные крупной мукой. Между черными домами, крытыми тесом, с узкими слюдяными окнами, в широких прогалах деревянные заходы – шалаши с загаженными столчаками. Вонючий пар висит по сторонам улиц.

Нескончаемо предпразднично гудят колокола, и звонок гул над низкими домами, а из Кремля, с вышины, из высоких соборов – свои мрачно-торжественный гул.

Порой врывается шум мельничного колеса, иногда жалобный вой божедомов-нищих от ближней церкви:

– Ради бога и государя-а – милостыньку! Прохожие, крещеные, по душу свою и за упокой родни...

Толпа бредет густо, лишь кое-кто встает у лотков, пьет кипяток с медом, ест пироги, глотает олады.

– Избушка!

Едет на высоких полозьях карета, обтянутая красным сукном. Из кареты в слюдяное оконце видно соболью низенькую шапку с жемчугом и накрашенное пухлое лицо. Карету тянут пять лошадей, на кореннике без седла парень в нагольном тулупе, без шапки, взьерошенный, в лаптях на босу ногу.

– Дорогу-у боярыне!

– Везись, дыра, да чужого двора!

Около кареты топчутся челядинцы:

– Еще бы проехала такая!

– Войну идти легче – отоптали!

Толпа слегка сжимается, уступая дорогу волосатому, густобородому попу в камилавке, в заячьей кошуле, с крестом на груди; лицо попа красное, руки, ноги – взброд.

– Окрестил кого, батько?

Поп лезет на вопросившего:

– Ты, нехристь, мать твою двадцатью хвостами, чего не благословляешься, а?

Человек от попа пятится в толпу, поп норовит поймать человека за рукав:

– Стой! Певер окаянной...

Человека от попа заслоняет высокий, широкоплечий, в синей казацкой одежде, под меховым балахоном на ремне по кафтану сабля, на голове красная шапка с узкой бобровой оторочкой.

– Посторочись-ко, сатана! – Казак отодвигает сильной рукой попа в сторону.

– Чего лезешь? А, ты попа сатаной звать? Эй, государевы!

Казак толкает попа в грудь кулаком, звенит цепь креста, поп падает на колени, поддерживает рукой камилавку, стонет:

– Ра-а-туй-ге!

Бойкий низкорослый мастеровой в фартуке хватается казака за руку:

– Станишник, удал, стой – правы не знаешь, а вот!

Подхватив с головы попа падающую камилавку, сует ее на лоток ближнего торговца, быстро валит за волосы попа лицом в снег и начинает пинать под бока, часто побряхтывая при пинках.

– Стрельцы, эй, караул! – из снега кричит поп.

Двое стрельцов неторопливо подходят с площади, деловито звучит голос:

– Бьют?

– Бьют...

– Кого бьют?

– Попа...

– Давно уж бьют?

– Нет, еще мало! Задрал поп...

– А камилавка?

– Во у меня! – кричит лотошник.

– Ну, пушай.

– Служилые! Ей, ради Христа-а! – истошным голосом хрипит поп.

– Мордобоец, буде, здынь попа.

Мастеровой тянет за шиворот втоптанного в снег попа, хватается с лотка камилавку и, поклонясь попу, надевает ему убор на голову.

– Вот, батя, кика твоя! В сохранности-и...

Поп стонет, дует на бороду, ворошит ее руками, вытряхивает снег и идет дальше, хромая, изрядно протрезвившийся.

– Потому попа в снег можно, камилавку нельзя: строго судят! – назидательно говорит кто-то в толпе.

Скрипит на ходу расставляемое подмерзшее дерево. Блинники – над головами их пар – раздвигают лотки, пахнет маслом и горелым хлебом.

– Кому со сметаной?

– У меня с икрой! Три на полушку.

– Каки у тя?

– Яшневые!

– У меня пшенишные!

– Давай ячных!

– И мне!

– Ты-ы ка-а-зак с До-о-ну? Ино с Черкасс?

– Кончи, – будем говорить!

– По Москве с оружием не можно, только стрельцы...

– Я есаул зимовой Донской станицы к государю.

– Говоришь не ладно: к государю, царю и великому князю! Тебе с оружием можно, – есть бумага ежели?

– Есть!

– Ну, иди! А то думали мы с Гришкой – дело нам, в Земской волокчи...
Высокий казак в красной шапке, отжимая на стороны толпу, идет дальше.

В переулке на площадь половина пространства заставлена гробами и колодами.

Белые, пахнущие смолю кресты воткнуты в снег, иные приставлены к стенам домов, к деревянным крыльцам.

– Кому последний терем? Кажинному надо – гольцу-ярыжнику, князю-боярину, всем щеголять не сегодня завтра в деревянном кафтане.

Торговец гробами мнетя на крыльце, поколачивая валенок о валенок. Около него два монаха в длиннополых рясах. Баба в полушубке, в платке, острым углом высунутом над волосами и лбом, плачет, выбирая гроб.

– На красках, жонка, аль простой еловой?

– Простой надо, дядюшко!

– Для кого?

– Муж с кружечного шел, пал и преставился... Божедомы приволокли на двор в Земской приказ.

– Меру ему ведашь? Выбирай, чтоб упокойник не корчился... Осердится не то, ночью приходиться зачнет!

– Уй, страсти говоришь, дядюшко!

– Бери-ка, жонка, на красках, задобри упокойного-то...

Монах тоже предлагает бабе, дрожа с похмелья:

– Псалтырю буду чести – вот и не придет упокойный, ублажим, жонка! Перед Богом ему вольготнее.

– Ефросин, не чуешь, неладом помер у жонки муж! Патриарх прещает честь за того, кто насильно скончал...

– Отче Панфилий, пошто мне патриарх, ежели утроба моя винопития алчет? Иду, жонка! Будем честь псалтырь.

– Ой, уж и не знаю, я как стану...

– Подвиньсь!

– Душа едет в царство небесное...

Толпа жметя к крестам, бредет в снег. Ныряя в ухабах, проулком, в сторону площади, лошадь тащит розвальни, в розвальнях скамья, похожая на сундук. На скамье преступник, ноги утопают в соломе, руки просунуты в колодки, лежащие на коленях, в посиневших руках зажата восковая свеча. Тут же, рядом с преступником, на скамье шапка черная, мохнатая, как воронье гнездо. В шапку прохожие бросают полушки. Голова преступника опущена, длинные волосы, свесившись через лоб, закрывают глаза и верх лица.

– Чудно, братья! Ветер дует, а свеча горит, не гаснет...

– Безвинной, должно, праведной!

Сзади розвальней шагают палач и два стрельца... У палача на плече широкий топор с короткой рукояткой, по нагольному полушубку палач подпоясан ремненным кнутом.

Палач иногда говорит в толпу, не останавливаясь:

– На площади дьяк прочтет!

– Робята, на площадь!

– Дьяк честь будет!

– Да тот он, что в соборе хвачен!

На площади помост обледенел от крови, кругом его на кольях головы казненных с безобразными лицами: безносые, безухие, занесенные снегом. Розвальни с преступником медленно поползли к помосту. Казак наискосок побрел глубоким снегом через площадь. Навстречу ему, поедая куски хлеба, жуя калачи, брела толпа глядеть казнь. Встретился поп, вышедший из закоулка. В руке попа, в желтой грязной рукавице замшевой – серебряный крест. За попом

шли стрельцы с бердышами и заостренными еловыми кольями. В холодеющем к вечеру, затихшем воздухе – без колокольного звона – отчетливо слышна отрывистая речь дьяка, привычно читающего много раз читанное:

– «И ты вор... подметной лист с печатями... противу государя и великого князя Алексея... Успения Богородицы... за обедней в Кремле... с казаком донским и атаманом прелестьми воровал... Тебя от великого государя... указу... четвертовать, казнить смертью...»

Казак остановился, прислушиваясь к обрывкам речи дьяка. Пробили в вышине часы, он не досчитал звона часов, а кто-то в толпе, густо идущей на кружечный двор, хмельным басом кричал о часах:

– Сие есть ча-а-со-мерие! Самозво-онно и само-о-движно...

4

Кружечный двор обнесен высоким тыном, прясла тына от столба до столба скреплены длинными жердями; верхняя жердь прясла щетинится гвоздями кованными. Недалеко от бревенчатых ворот распивочная изба, у крыльца ее высокий шест, на шесте продет горшок без дна, выше горшка помело.

На крыльце над низкой створчатой дверью по белому выписано:

«Питий на домах не варити и блудных жонок при кабаках не имети».

Казак шагнул в сени. В простых сенях, хотя на улице еще чуть вечерет, в стенных светцах горит лучина, угли падают прямо на пол. Пол черный и липкий, из сеней дверей нет, в перерубе дыра в избу, порог избы отесан. По избе, обширной и черной, с черным лоснящимся потолком, – столы, у столов длинные скамьи; слева от входа стойка, на стойке горит сальная свеча, за стойкой шкаф, на нижней полке сундук, сбоку на желтом сундуке крупно вырезано и раскрашено синим:

«Тот вор пес, кто убытчит казну государеву – питий не пьет на кабаке, а варит на дому без меры».

Вслед за казаком пришли стрельцы с площади, сели за стол рядом с дьяконом. Пропойца-дьякон, мотая черной гривой с горя, что не на что больше пить, басит похоронно:

Сколочу тебе гробок
Из палатенных досок,
Старая старуха,
Отрежь полотенца
Накрыть младенца.

– Закинь, дьякон!

– Кину, ежели пенным попоштвуете, государевы люди!

– Бердышом в зубы!

– А значит, доля моя петь! – И, зарывая грязные узловатые пальцы в волосы, дьякон бубнит:

Тень, тень, потетень.
То у Спаса звонят.
Да у старого Егорья
Часы говорят.
Эх, бей в доску,
Поминай Москву!

Как в Москве-то вино
По три денежки ведро!

– Лжешь, отче дьякон! Плакать пошто, ежели вино на Москве столь дешево?

Стрельцы расплатились – ушли. Дьякон тоже нехотя уплелся. Казак сел за один из длинных столов, потребовал меду. Кабацкий ярыга-служба оглядел внимательно казака. Казак спросил:

– Ты во мне родню, что ль, признал?

– Много есть такой родни. Лик твой зреть надо... Неравно лихо учинишь, так ведать не худо...

– Ишь ты, кабатчики, кобели, еще псов завели! Оботри кувшин!

Ярыга обтер горло железного кувшина фартуком из дерюги, со дна железной кружки выплеснул опитки на пол. Деньги, полученные за питье, передал целовальнику. Вскинув на широкой корявой ладони медяки, мордастый целовальник сунул деньги в ящик с надписью. Поднял неверящие глаза на человека, подошедшего к стойке. Человек тягуче сказал:

– Чти-ко, Артем!

– Што те надо? С добром не идешь...

Человек в гороховой чуйке со сборами на заду, с постным лицом, редкобородый, седой, положил на стойку бумагу. Целовальник придвинул к бумаге свечу, разгладил лист, водя толстым пальцем по строкам, шевеля губами, читал медленно. Человек сунул на стойку два жестяных кувшина, заговорил:

– Копотно чтешь!.. Довелось-таки принять трудов, настоял же: потому государево заорленное ведро вина, по ценовной грамоте, стоит шестнадцать алтын четыре деньги...

– Ну и что?

– А вот! Ты вчинил мне на скупке тую ж меру ведра по двадцати шти алтын да четыре деньги... Нынче по этой вот отписке дьяков зачну я брать у тебя вино на государеве кручне дворе по ценовной в шестнадцать алтын четыре деньги... Седни беру я одно ведро, а остачу от тридцати алтын – четырнадцать – клади на стойку!

Целовальник крикнул ярыжке:

– Максимко, нацеди гостиные сотни купцу ведро вина!..

Ярыжка взял кувшины. Целовальник зацепил горстью из ящика деньги, отсчитал, сунул купцу. Купец по монете попускал деньги в карман чуйки. Мысленно пересчитав их, продолжал назойливо:

– Кажи-ка, Артем, твое государево ведро! Коли оно доподлинно, то без спору...

Целовальник, сопя, брякнул на стойку сырое ведро, пахнущее водкой, положил тут же аршин. Купец, вымеряя ведро, говорил:

– Меряю, гляди Артем: от верхнего края внутрь через дно нижнего мера должна вычсть семь вершков.

– Ну а мое ведро не государево? Не заорленное?

– Чего хребет воротишь? Бесспорно, мера государева.

Целовальник широким лицом сунулся к уху купца:

– Тит Ефимович, нечистики по душу твою на том свете с фонарями ходят... чай, скоро помрешь? Кому добро кинешь?

– Да уж не тебе, жабы черева...

Купец, подхватив кувшины, как подошел, так и ушел, не кланяясь.

– Скарעד, сутяжник, чтоб тебе засохнуть с кореня!..

Целовальник плюнул.

В избу широко пахнуло ветром, свеча на стойке погасла.

– Коего пса?

Целовальник вынул из стенного светца лучину, зажег свечу. В избу полз мохнатый, матерый медведь с облезлой спиной, со снегом на шкуре и лапах. Держась за цепь, продетую кольцом в губу зверя, мужик лез без шапки, с бубном, в овчинном полушубке, серой шерстью вверх, на кривых ногах обледенелые лапти.

– Нечистики, аж в грудях закололо, – ворчал целовальник, подавая питуху на стойку кружку вина, – деньги дал?

– Дал, Артем Кузьмич; еще закусить калачик!

Громко матерясь и читая молитвы, за мужиком с медведем вползала какая-то несуразная груда с дубиной в печатную сажень. Кряхтя и пролезая, фигура орала:

– Вишь, руки отсохли дверь прорубить! В дыре хребет сломишь.

– Такому всякой двери мало!

– Ха-ха-ха!

Фигура, влезши в избу, разогнулась, крепко выругалась; ее живот, оттопырившись, выкрикнул молитву. Под черным высоким потолком появилась бумажная харя с вытаращенными глазами.

Питухи закричали:

– Ай, батько Артем, государеву грамоту к дверям прибил, а двери закрестить поленился – черт в избу залез.

– Пошто черт?! – заорала фигура. – Лик мой крещен и не один раз в ердани богоявленской, а пуп крестил палач на Ивановой площади!

Фигура шагала по избе, стуча в пол саженной дубиной. На ней мотался балахон, сшитый из многих кафтанов, воротник из черного барана висел книзу до половины спины. Просунув в бумажную харю дудку, фигура засвистела песню. Балахон на ней спереди оттопырился, и там, где должен был быть пуп, засвистела вторая дудка, наигрывая ту же песню. Приплясывая по избе, фигура скинула крашеную харю, шагнула к стойке:

– Артемушко, окропи душу пенного кружкой!

– Деньги! – Целовальник налил кружку водки, поставил на стойку. Фигура, ломаясь углом, потянулась книзу, но распахнулся балахон, и кружка, исчезнув в брюхе великана, быстро вернулась на стойку пустая.

– Го-го-го! Артем, лей, мы платим!

Снова налита кружка; фигура, сгибаясь, кряхтя, лезет к водке, а пуп пьет.

– Штоб ты треснуло! Вот моя судьба, крещеные: мой пуп, то значит – бояре, мой лик с главой – народ! Лик просит, лик сготовляет, а пуп жрет! И, братие, народ хрещеный... весь я век живу голодом... – фигура говорила плачуще.

– Вишь, каку правду молыт!

– Артем, налей, – може, и народ выпьет...

Целовальник кулаком погрозил великану:

– Ты, потешник! Не поднесу и прогоню, ежели еще о боярах скажешь...

Кто-то из питухов встал, пощупал великана и крикнул:

– Слышь, товарищи, ино два дьявола склались в одно!

Фигура закружилась по избе, заохала:

– Ой, уй! Ужели рожу кого? Ой, и большой же младень на свет лезет!

Фигура присела на пол и распалась надвое.

Два рослых парня выползли из-под оболочки, свернули огромный балахон, приставили в угол дубину и оба сели за стол с питухами:

– А ну, крещеные, поштуйте роженицу водкой – вишь, какого родил! Женить сразу можно!..

– Пейте, родущие! Потешили...

– Очередь за медведем!

– Потешай, Михайла!

Покрикивая, чтоб зверь плясал, медвежатник бил в бубен, но медведь только рычал и переминался на месте. Изо рта у него текла густая кровавая слюна.

– Нече делать! – мужик протягивал бубен к пьющим. – Денежку, хрещеные, на пропитание твари...

– Пошто не кормишь?

– На голодном не пашут!

– Оно правда! Голодна тварь, а негде кормиться: по патриаршу указу нас с ней на торг не пускают...

Питух у стойки, выпив водку, загляделся на потешных, скупое ломал, ел калач. Медведь повернулся к нему, мелькнул лапой, вырвал калач и быстро проглотил. Мужик, махая шапкой, подошел к жожаку:

– Вожь, плати за калач, зверь – твой.

– А чаво?

– Ту – чаво? Зверь у меня калач сглотнул!

– У него, вишь, милай, утроба велика и пуста.

– Плати, сказываю!

– Пушай, милай, то ему милостынька – он потешит!

– Плати или – к приставу!

Казак стукнул о стол железным кувшином:

– Целовальник, – вязку калачей!

– Деньги дай!

Казак кинул серебряную монету. Из вязки поданных калачей надломил один, сунул мужику:

– Бери, и с глаз прочь!

– Уйду!

Казак кидал медведю калачи, зверь ловил ртом, глотал не жуя...

– Ну же, Михайла! Кажи, как мужик воеводе кланяется!

Вожак стукнул бубном о голову. Медведь лег на брюхо, пополз по полу, пряча морду между лап, скуля и воя.

– А ну, Михайла, кажи люду честному, как из мужика на боярина вотчинного выколачивают посулы судейски да подать, заедино и посошные деньги!

Медведь присел на задние лапы, вцепившись передней лапой в пол, правой начал бить и царапать, так что от половиц полетели дранки, он рычал, кряхтел и скалил зубы.

– Эй, нечистики! Прогоню да на съезжую сдам за такое... И то за вас, того гляди, в ответ станешь. Заказано на кружечной с медведем! – крикнул целовальник.

Вожак унял медведя. Питухи поили водкой и мужика и медведя.

Казак, выпив мед, запил водкой. В голове зашумело, буйное поднялось со дна души. Рука потянулась к сабле – брала досада почему-то на целовальника, – но он сдержался, встал и, раньше чем уйти, повел плечом, двинул шапку на голове, крикнул:

– Гей, народ московский! Ино коза, колодки и кнут обмяли твою душу... С молитвами, надобными не Богу, а попам, волокешь свое горе в гору! А горше то, что кто за тебя пошел, того сам же куешь в кайдалы, и нет тебе родни ближе бояр да приказных. Дивлюсь я много и, ведай, – жду: когда же придет время тому, как скинешь с плеч боярскую тяготу?!

– Вот она правда! То воистину казак! – отозвались голоса питухов.

Целовальник загреб воздух широкой ладонью. Ярыга бойко подскочил к нему. Целовальник зашептал, кося глаза в сторону казака:

– Беги, парень, в Земской! Боярина Квашнина дякам моли: «Пришлой-де станишник мутит народ на государеве кружечном...» Скоро обскажи...

– Чую сам – не впервой, Артем Кузьмич!

Ярыжка без шапки выскользнул в сени.

Казак, спокойно звеня подковами сапог, шагнул вслед ярыжке.

Парень спешил, не оглядываясь, на ходу подбирая полы длинного кафтана, подтягивая фартук. Казак не выпускал парня из виду. На повороте, в глухом, узком переулке, ярыжка полез через бревно, задержался, вытягивая ноги из глубокого снега. Людей здесь не было. Сверкнул огонь. Ярыжка охнул, метнулся от выстрела и упал между бревен. Казак сунул дымящийся пистолет под шубу за ремень. Шагая через бревна, вдавил убитого тяжелым сапогом глубже в снег и, выбравшись проулком на площадь, сказал громко:

– Сатана!

Прошел краем площади мимо Земского приказа, вышел на Москву-реку.

5

Мост через реку на обледеневших барках, косые перила в снегу. Недалеко от моста лари и амбары пустуют. Торговля перешла на Москву-реку. Первыми там расставили свои лари мясники и рыбники, за ними перебрались купцы из больших рядов с Красной площади. В городе торгуют лишь на лотках блинники и пирожники.

У моста, впереди ларей, пространный, с дерновой крышей, вдавленной посредине, сруб-баня. В сторону реки у бани журавль для подъема воды. Окна бани заткнуты обледеневшими вениками.

Сквозь веники ползет пар. Пар доходит до потоков крыши, с потоков от тепла и пара каплет вода, длинные сосульки кругом увешали потоки бани.

Из косых прочных дверей бани выходят голые. Тогда в раскрытые двери слышен стук деревянной посуды, вырывается людской галдеж, шипит вода, кинутая на каменку. Голые, выйдя, натираются снегом, иные, не замечая, стоят под капезом крыши, осовелыми глазами глядят на прохожих, прохожие точат зубы:

– Эй, молочший, грех-то закрой!

– А то будто поп какой с волосьем! Бесстыжий – воду пустит к дороге.

Вечереет. Люди гуще идут от всенощной.

Из бани вышла баба, вся голая, живот висит, груди – тоже, сама семипудовая, матерая, на двойном подбородке ряд бородавок, между голых ног веник, капает вода на снег. От бабы пар столбом, дышит тяжело.

Прохожие гогочут:

– Грех-то омыла-а!

– Тебе што?

– Эй, сватья! Почем мясом торгуешь?

– У, штоб ты в Разбойной уловили!

К бабе подошел черноволосый, с курчавой бородой сын боярский, по зимней малиновой котыге желтые шнуры, шарики-ворворки в узорах петель. Подошел плотно, ущипнул бабу за отвислый живот и, словно выбирая свиное мясо, ткнул концом пальца в разные части пухлого тела.

– Идешь?

– А што даешь?

– Две деньги.

– Не, коли полтину, – иду!

– А дам!

– Деньги в руку, – у меня распашонка в бане.

Парень сунул деньги:

– Сполу бери – остача за ларем!

– Вишь, я босиком, – жди.

Баба завернула в баню и скоро вышла в серой овчинной кортели внакидку, в низких валенках.

– Красавчик, скоро? Ино озябну.

– Окрутим в один упряг.

Оба нырнули за лари.

За ларями женский крик:

– Ой, ба-а-тю-шки!

– Держи, робя! Держи! Экую хватит всем.

– Го-о!

– Охальники-и! Дьявола-а...

– Рожу – накинй тулуп!

– Куса-ется... а, стерва-а!

– Кушак в зубы – ништо-о!

– Кидай!

– Ой, о-о!

– Воло-о-ки...

– Го, братья! Не баба – розвальни...

– Кережа! Ха...

Казак, прислушавшись, шагнул к ларям. За баней, между ларей, у высокого гребня сугроба, в большом ящике с соломой на овчинной кортели лежала валенками вверх распяленная баба – лицо темное, вздутое, глаза выкачены, во рту красная тряпка. Тут же, у ящика, двое рослых парней: один подтягивал кушаком кафтан, другой – штаны. В стороне и, видимо, на страже, лицом к бане, стоял черноволосый боярский сын. Воротник зимнего каптура закрывал шею парня; крутой лоб и уши открыты, он курил трубку, поколачивая зеленым сапогом ногу об ногу.

Казак выдернул саблю.

– Эй, сатана, – жонку!

Неподвижная фигура в красном задвигалась. Боярский сын, быстро пятясь и щупая каблуками снег, сверкнул кривой татарской саблей.

– Рубиться? Давай!

В сумраке брызнули искры, звякнула сталь. С двух-трех ударов сабли боярский сын понял врага – бойкими, мелкими шагами отступил за ларь и крикнул:

– Ништо ей, дубленая! Коли хошь, вались – не мешаем...

– Дьявол! Спустишь жонку?

– Эй, други! Здынь блудную... темнит, неравно караул пойдет – жонка не стоит того, ежели за нее палач отрубит нам блуд...

Бабу вскинули вверх, выдернули изо рта кушак, накинули ей на плечи кортель:

– Поди, утеха, гуляй!

Баба кричала:

– Разбойники-и! Ой, охальники-и! Наймовал один, а куча навалилась! Подай за то рупь, жидовская рожа-а!

– Ругаться! – крикнул боярский сын. – Гляди, пустая уйдешь!

– А нет уж, не уйду, – плати-ко за троих!

– Мотри, черт, еще опялим!

– А плюю я на вас – боюсь гораздо!

Казак громко сказал:

– Ну и сатана!

Боярский сын, шагнув к бабе, крикнул казаку:

– Убойство мекал? Ха! Тут лишь женска потеха...

– Ты, кучерявый, ужо на маху где сунешься – повешу!

Казак пошел прочь.

– Го, го! Повесишь, так знай, как меня кличут – зовусь боярский сын Жидовин Лазунка-а...

– На глаза попадешь – не уйти!

– Ай да станишник! Рубиться ловок, да из Москвы еще не выбрался. – Москва, гляди, самого вздыбит, как пить...

– Дьявол! С хмеля, что ль, я ввязался к ним?

Тряхнув плечами, казак пошел на мост.

6

Длинная хата от белого снега, посеревшего в сумраке, слилась, стала холмом. Тропа к ней призрачна, лишь чернеет яма входа вниз.

Казак шагнул вниз, гремя саблей, ушиб голову, ища ногой ступени, слышал какую-то укачивающую песню:

Тук, тук, дятел!
Сам пестренек,
Нос востренек,
В доску колотит,
Ржи не молотит.

Как и два года назад, он наткнулся в темноте широких сеней подземной избы на сундуки и укладки.

В голове мелькнуло:

«Будто слепой! Шел городом на память... Здесь иду на голос».

От сильной руки дверь раскрылась. Пахнуло теплом, кислым молоком и одеждой...

– Мати родимая, голубь! Радость ты наша светлая! Да, дедко, глянь скоро – сокол, Степанушко!

Ириньца в желтом летнике сорвалась с места, зацепив люльку. В люльке поднялся на ноги темноволосый мальчик:

– Ма-а-а-ма-а...

Старик медленно отстранился от книги, задул прикрепленные на лавке восковые свечи и, почему-то встав, запахнул расстегнутый ворот пестрядинной рубахи:

– Думали с тобой, Ириха, еще вчера: век его не видать!.. Поздорову ли ехал, гостюшко?

– Здорово, дед! Ириньца, как ты?

– Ведь диамант в серебре! Ночь ныне, а стала днем вешним!

Ириньца, целуясь и плача, повисла у гостя на шее.

– Не висни, жонка! Оженился я – примамай или злись, как хоть!

– Ой ты, сокол, голубь-голубой, всем своя дорога, – нет, не злюсь, а радуюсь.

Гость бросил на лавку шубу, отстегнул на кафтане ремень с саблей и плетью, – на пол стукнул пистолет, он толкнул его ногой под лавку.

– Ой, давно не пивала я, а напьюсь же сегодня ради сокола залетного – прости-ко ты, горе-гореваньцо...

Женщина заметалась, прибирая горенку. На ходу одевалась:

– Умыться-то надо?

– Ништо, – хорошо немытому. Доспею к тому...

– Ну, я за вином-медом, а ты, дедко, назри сынка. Ведь твой он – сынок, Степанушко, пошто не подойдешь к нему? Красота в ем, утеха моя несказанная...

– В сем мире многомятежном и неистовом всякая радость, красота тускнеет... – Юродивый, говоря, подошел к люльке. Женщина исчезла.

Старик мягко и тихо уложил мальчика в люльку, поправил под головой у него подушку:

– Спи, рожоное от любви человеков... Спи, тешеное, покудова те, что тешат тебя, живы, а придет пора – и потекут черви из ноздрей в землю от тех, что байкали...

– Пошто, дедко? Живы мы – будем веселиться!

– Оно так, гостюшко! Жгуче подобает живому жегчи плоть.

Ребенок уснул. Юродивый отошел, сел на лавку. Гость не садился. Стараясь меньше стучать тяжелыми сапогами, ходил по горнице, ткнул рукой в раскрытую книгу на лавке, спросил насмешливо:

– Эй, мудреный! Нашел ли Бога в ней, – что скажешь о сатане?

Юродивый ответил спокойно и вдумчиво:

– Сижу в книгочеях много. Тот, кто Бога ищет, не найдет... Верить – не искать. Я же не верую...

– Так, так, значит...

– И ведомо тебе – на Москве я сочтен безумным... А мог бы с патриархом спорить, да почету не иму... И не можно спорить о вере, ибо патриарх тому, кто ведает книжну мудрость, велит заплавлять гортань свинцом и тюрьмы воздвигл... Я же, как в могиле, ту... и оброс бы шерстью в худых рубах, да Ириха назрит... Вот чуй.

– Слышу и хочу познать от тебя.

– Стар я, тело мое давно столетьем сквозит, едина душа моя цветет познанием мира... Ноги дряблы, но здымают тело, ибо телу велит душа... Ярый огонь зыряет снутри земли... И чел я многажды, что тот подземный огонь в далеких частях мира застит дымом, заливает смолой и серой грады и веси, – так душа моя... она не дает истечи моему телу и чрез многи годы таит огонь боярам московским, палачам той, кто родил на лобном позорище юрода, зовомого Григореем.

– Вот тут ты непонятное сказываешь!

– Чуй еще, и непонятное войдет в смысл.

– Я чую...

– Сколько людей без чета на Москве да по всей земли жгут, мучат, кто поносил Христа и Пресвятую Деву, мать его; в чепи куют, из человека, как воду, хлещут наземь живоносную руду-кровь. А что, ежли и поносил хулой божество?

– Я тоже, дедо, лаю святых!

– За что, вопрошаю я, живое губят для ради мертвого? Исписанное в харатеях и кожных книгах сказание мертво есть! Был-де Человек-Бог, зовомый Исус, была-де Мать его, именем Мария... А то, как били мою мать на козле брюхатую, что она тут же в кровях кнутобойства и нутряных кровях кинула юрода, – то нынче, ежли скажешь кому, непонятно, не идет в слух, а идет мимо ушей... Ведь рабу Ефросинию, мою мать, претерпевшую от лиха бояр, черви с костями пожрали... Так как же поверить тому, что ушло за тыщи лет? Может, и был распят, а может, и то – книга духовная единый лишь обманый сказ! Библия, Новый Завет... чел я много. И что есть Библия? Да есть она древляя мудрость юдейска, для ради народа, веру коего наши отцы православия гонят, ведут веру по той же тропе и лжесловят: «Вера их проклята – жидовина ересь! Мы же от византинцов верой пошли». А византинцы – елины, но древни елины стуканам молились, едино что и ромейски цесари... Кому же из духовых престлестников веру дать? Юдейска вера – богатеев, потому они верят в приход Мессии царя, кой придет с неба, и тогда все цари мира ему поклонятся и все народы зачнут работать на юдеев...

Бедный, кто познал скудность многу, не мыслит другого человека сделать себе слугой. То вера знатных. Наши же патриархи, епископы, признав Иисуса царем и Богом, глаголят: придет кончина мира, а с ней придет с неба Иисус Христос, и мир преобразится – поможет жить милостивой, незлобивой жизнью... Да как же он зачнет быть незлобив? Человек есть существо, палимое страстями, жгущими плоть, и желаниями жизни – осязанием телес, трав, обонянием яств, – и только сие радостно на земли! Незлобивость праведная ненадобна человеку живому... Ждут Мессию и Христа, с неба спешивших, а что есть небо? Земля наша, яко шар, плавает в небе, как в голубом окияне – море без конца-краю, – яко струг по воде... И наши отцы – патриархи, попы – сказывают: «Вот царь, то есть бог земной, ему поклоняйтесь, помня о царе небесном, его бойтесь – он волен в головах и животах ваших!» Царь же мудр, хотя и бражник и беззаконник, царь избирает помощником себе тоже праведных – стольников, крайчих, бояр, князей, а те едут на воеводства кормиться, ибо они посланы царем... и вот куда ведет древнее сказание и вот пошто цари, бояры, купчины ценятся за то, кто усомнится и скажет противу веры...

– Эх, дедо! Хватит моей силы, да ежели народ пойдет за мной, приду я на Москву и кончу царя с патриархом!

Гость взмахнул широкой ладонью.

– Ту-у... стой ко! Чтоб нас кто... идут!

Вошла Ириньца:

– Ой, дедко, сидит, да Бога ругает, да по книгам сказывает, а нет чтобы скатерть обменять на новую. Свечи тоже, неужели с таким гостем пировать зачнем при лампадках?

Ириньца снова металась по горенке, переменяя скатерть, ставя и зажигая свечи.

– Ништо! Гость, поди, с бою – справу великую ему и не надо. Скатерть, коли пить будем ладом, зальем медами.

– Пущай зальем! Пущай сожгем! А люблю, чтоб было укладно! Ой ты, сокол мой! Да подойди ты, сокол, к зыбке, хоть глянь на сына-то! Ой, и умной он, а буйной часом... Иножды, случится, молчит и думает, как большой кто...

– Жонка, боюсь любить родное. Иду я в далекий путь, на моем пути немало, чую я, бед лежит... Полюбишь – глянь, и вырвали, как волки, зглонули любимое, и душа оттого долго в крови...

– Ну, сажайся! Брось кафтан-от.

Разин скинул кафтан. В белой расшитой рубахе сел за стол. Старик придвинулся к столу:

– Эх, и мне! Люблю котлы мяса да пряженину всякую с водкой пенной, и много, знаю я, будет плести за сим столом язык мой...

– Не дам тебе, старый, много лгать! Надоскучило одной головой постельные думы думать.

– Ириньца, пьем за тебя с дедом, а за деда пью особо – убог он телом, да велик ум в ем...

– Пьем, голубь! Как хошь, а после кажинной чаши, поколотившись, пококавшись кубками, целуй.

Пили, ели, целовались. Старик, чтоб не глядеть на них, сидел боком.

– Жги плоть, разжигай огнем!

Он положил на тощие руки седую голову, закрыл глаза и пел:

Нашей матушке не можетя,
На Москву ехать не хочется.
Вишь, семи дворам начальница была:
Самовольной распорядчицей слыла!

– Дедко, пасись, – худо не играй!

– Не играю, Ириньца... Жги плоть огнем и не верь, гостюшко, словесам прелестников царских. «Не глад хлеба погубляет человека, глад велий человеку Бога не моля житии», – сказывают они.

– Горбун столетний, чем твои разны слова, лучше играй песни!

– Оно можно!

– Краше бранись, чем много о Боге сказывать. Степанушко, целуй в губы, всю-всю целуй, голубь...

Старик запел:

Пирог вдова Фетинья пекла,
Да коровушка в избу зашла.
Из квашни муку выпархивала,
Ой, остачу вылизывала!

Старик вскочил и пошел плясать.

Не хватило Фетинье муки,
Поймали Фетинью в клетки,
Ой, кидали на тесовую кровать
Да почали Фетинью валять.
С боку на бок поворачивати.
Кулаками поколачивати!

Юродивый потянулся к чаше с медом и сел.

– А будешь ты, гостюшко, большим отаманом – чую я, – тогда не мене лжи и злобы воеводиной бойся лжи патриаршей. Будет та ложь такова – всенародная тебе анафема!

– Слов не боюсь, старик!

– Аль не ведаешь? Страшное слово страшнее боя смертного... Худо от слова того зришь ли? Я же его зрю. Народ верит попам... Встав за тебя, руки его опустят топор противу бояр, когда грянет в московских соборах страшное ему слово да гул от него, яко многи круги от камня, метнутого в воду, пойдет по всей Руси... Попы подхватят московский гул – ой, гостюшко, чутко ухо народа к вековой сказке!..

– Перестань ты, ворон горбатой! Кинь его, Степа... Дрема долит меня, и не хочу я без тебя – уложи на постелю да сам ляжь со мной...

– Не висни, Ириньца!

– Не серчай, голубь... Я одна, а ты приди!

– Некуда мимо тебя – приду! Сегодня я твой...

– Приди, сокол... голубь-голубой... и не верь ему – страшное он завсегда каркает, ворон!

Приди, я радостное тебе шепну...

Женщина ушла на кровать.

– Об ином я думаю, старик.

– О чем же мекаешь ты?

– Думаю, дедо, когда зачну быть атаманом, уйду с боем в Кизылбаши и шаху себя дам в подданство, а оттуда решу, как помочь народу своему...

– Шаху не давайся. Краше будет дать себя салтану турскому.

– На кол шлешь сести?

– Зри, – шах завсегда с Москвой дружит. А ну как приедут к шаху ближние царя да сговор будет, и шах, гляди, тебя даст Москве головою?

– Пьем, дедо!

– Выпьем, гостюшко! Что им ты, когда очи своих боятся, не шадят. Тут протопоп Архангельского собора Кириллову книгу списал, а в ней таковое есте слово: «Мы должны не отвращаться от еретиков и не злобиться на них, а паче молиться об их спасении». За теи слова его патриарх в тюрьму ввергнул, да, гляди, того протопопа и в клетке железной сожгут, как богоотступника... Нет! Москва пристанет, так и в Кизылбашах от тебя не отступится... Салтан ж крепче... салтан с ними не мирной...

– Эх, дедо, видно, везде воронье клюет сокола? Бойтся и клюет...

– Пьем, гостюшко!

– Пьем, – спать пора!

Разин ушел на кровать. Старик пил, мешая водку с медом, потом, свесив голову, запел:

Спихнула чернца с крыльца,
А чернечик и нынь лежит,
Каблучонками вверх торчит...
Ой, купчине там лоб проломил,
Подъячему голову сломил,
Не кобянься, родимая,
Коли звали на расправ в Москву!

Старик тяжело поднялся, попробовал плясать, да ноги не слушались. Он пробрался в свой угол за лежанку, долго бредил и бормотал песни.

7

На Фроловой башне в Кремлевской стене – вестовой набатный колокол. От Фроловой трехсаженный переход до пытошной башни – она много ниже Фроловой. Между башнями – мост на блоках, на железных проволочных тяжах. Шесть человек стрельцов из Фроловой в пытошную провели троих лихих на пытку. Впереди высокий казак в сером, без запояски, кафтане. Бородатый, могучее тело сутулится, в спине высунулись широкие лопатки. В черных кудрях – густая проседь, длинные руки вдеты в колодку, прикрепленную ремнем к загорелой шее. Колодка, болтаясь, висит спереди, опустившись до колен.

Когда прошли стрельцы, подталкивая в пытошную лихих людей, бревенчатый мост из двух половин, завизжав блоками, медленно опустился, половинки его повисли над глубоким, с кирпичными стенами, рвом, наполненным водой.

На стенах пытошной башни, потрескивая, горят факелы. В вышине башни – две железных крестообразно проходящих балки, над ними узкие открытые окошки, куда идут дым и пар. Стена башни штукатурена. С сажень, а то и выше стена забрызгана почерневшей кровью, клочками мяса, пучками волос. У стены на кирпичном полу – бревно, в него воткнут кончар⁵⁵. На рукоятке кончара за ремешки подвешены кожаные рукавицы. Над бревном, невысоко, к стене прибита тесаная жердь, между стеной и жердью воткнуты клещи и пытошные зажимы для пальцев рук и ног. Тупой молот втиснут тут же рукояткой кверху. На его рукоятке, как ожерелье дикарей, – связка на бечевке костяных острых клинышков, забиваемых, когда того требует дело, под ногти пытаемого. Два узких слюдяных окна в наружной полукруглой стене башни. Под окнами – стол и скамьи. За столом – бородатый дворянин, помощник разбойного начальника – боярина Киврина. На главном месте за тем же столом – сам боярин Киврин в черной однорядке нараспашку поверх зеленого бархатного полукафтаны. Боярин – в рыжем бархатном колпаке с узкой оторочкой из хребта лисицы. У дверей на скамье по ту и другую сторону –

⁵⁵ Кончар – штыкообразная шпага; ею в боях пробивали панцыри.

два дьяка: один – в красном кафтане, другой – в синем. Под кафтанами дьяков на ремнях – чернильницы. За ухом у каждого – гусяное перо, остро очиненное; в руках – по свертку бумаги. Один из дьяков – Ефим, но сильно возмужавший: русые волосы стали еще длиннее, и отросла курчавая окладистая борода. Киврин перевел волчьи глаза на дыбу – на поперечном бревне прочные ремни висят хомутом.

– Дьяки, сказать заплечному Ортему, чтоб мазал дыбные ремни дегтем, рыжеют... лопнут.

Дьяки, встав, поклонились Киврину.

Подножное бревно палача приставлено к стене в глубине ниши. На полу под дыбой саженный железный заслон – на нем разводят огонь, и он же дверь, куда выталкивают убитых на дыбе. Когда заслон поднимают, труп скользит по откосу в каменную щель, вываливается наружу кремлевской стены, недалеко от Фроловой. Божедомы каждое утро подбирают трупы, так как пытаются каждый день, кроме Пасхи, Рождества и Троицы. У входа, в глубине Фроловой, на низких дверях висит бумага, захватанная кровавыми руками:

«По указу царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси татей и разбойников пытать во всяк день, не минуя праздников, ибо они для своей татьбы и разбоя лютого дней не ищут».

Башню наполнил колокольный гул из Кремля. Киврин, не вставая, снял колпак, перекрестился. Дворянин встал, снял лисий каптур и, повернувшись к окну, истово закрестился. Дьяки встали, перекрестились и сели.

Два стрельца стояли под сводами дверей в другую половину.

Киврин сказал:

– Стрельцы, когда часомерие ударит часы, мост к Фроловой спустить, пойдут заплечные...

– Ведомо, боярин!

– Всенощная истекает, скоро приступим, да, ране чем начать со старшим, думаю я дождать другого брата.

Дворянин, опустив голову, глядел на лист бумаги перед собой. Поднял глаза, кивнул.

– Что-то не волокут его, боярин, другово! – сказал дьяк Ефим.

– Запри гортань, холоп, не с тобой сужу. И завтра, может, Иваныч, придется ждать.

Дворянин сказал:

– Мекаю я, боярин, сыщики Квашнина малой прыск имеют. Своих бы тебе, Пафнутий Васильич, двинуть!

– Мои истцы zde, Иваныч, да Квашнин много и так на меня грызется, что во все-де сыскные дела вступаюсь.

– Ну, так долго, боярин, нам тут сидеть без того дела, которое спешно...

– А, нет уж! Пушай Квашнин хоть треснет и государь жалобится, я пошлю своих. Эй, стрелец, позови-ка истцов!

Из железного кулака, ближнего к двери, стрелец снял факел, вышел в другую половину башни:

– Люди Киврина! Боярин кличет.

В пытошную к столу подошли четверо в дубленых полушубках, один из них широкоплечий, скуластый, с раскосыми глазами. На троих белели валенные шапки, на четвертом нахлобучена до раскосых глаз островерхая, с опушкой черной густошерстой собаки. Подпоясан широкоплечий татарского склада человек, как палач, тонкой, в два ряда обвитой по талии ременной плетью, один из концов плети с петлей.

– Вы, робятки, – сказал Киврин, водя по лицам парней волчьими глазами, – ведаете ли, кого имать?

– Приметы дознались, боярин; званья – тоже: ясаула козацкой станицы Стеньку Разю..

– То оно – имайте... А тако: прежде всего берегитесь шуму и многих глаз. Подходите не скопом, а вразброд и берите, когда он без сабли. Коли же с саблей, зачнете ронить головы, как брюквины с огорода: ведомо, что рубит шарпальник без страху и пуста удара у него не бывает...

Боярин остановил глаза на татарине:

– Известно мне, что ты, батырь Юмашка, много коней ловишь петлей, а на козака пой- дешь, не промахнись – зри: сабля в руке, то, знай, петля не берет. Мой вам сказ таков: усле- дите в заходе, на столчак с саблей не полезет. Ино подговорите ярыг каких-либо – запугайте их перво, чтоб делали тайно, и заведите кулашный бой на реке... Следы запали его: только дознался, что в ту ночь сшел он в Стрелецкую, станица же zde у Кремля, и не можно ему не быть в станице. А тако: пойдет по льду Москвы-реки, ту вам к его ходу заварить кулашный бой; може, загорится боем, саблю сложит, тогда ваш. Сани сготовьте, веретье киньте на него и волоките к Фроловой. Зде мы примем без шуму...

– Уловим, боярин.

– Бачка боярин, изымам!

– Ну, со Христовой молитвой в ход!

Истцы ушли. Пробили часы на Спасских воротах. Заскрипели блоки – мост встал на место. Киврин спросил:

– Стрелец, идут ли заплечные?

– Идут, боярин!

8

Все – как ясным днем наяву: Разину кажется, что лежит на палубе струга, что его тихо несет по течению, а перед ним синий парус, но, приглядываясь, удивился.

Его правая рука лежит в стороне и манит к себе, двигая пальцами... Вон тело, оно тоже далеко от глаз, а близко сапоги человека в синем кафтане... У человека вместо лица желтый большой лист бумаги; под бумагой, свесившись книзу, дрожит светловолосая борода. Разин слышит, что человек читает, и силится понять.

«...В своей дьявольской надежде... Вор... клятвопреступник... похотел... святыню обругать, не ведая милости заступления пречистые... московских...»

Выше синего кафтана, бороды и желтого листа бумаги высятся зубчатые стены, за сте- нами лепятся один над одним золотые кокошники, без лица, – они идут кверху, а вверху горит на солнце золотой крест...

– Вот диво!

Разин хотел встать, коротко почувствовал неподвижность тела, в нем пробудились упрям- ство и злость... Выдохнув широкой грудью, крикнул:

– Что ж я? Сатана! – и сорвался с постели.

Перед ним у другой стены горницы мерно качается люлька, завешенная синей камкой. Верх люльки до половины украшен бахромой из желтого блестящего шелка; раздуваясь от движения вверх-вниз, шевелится. За люлькой в одной рубахе, наискосок съехавшей с плеча и пышной груди, сидит Ириньца. Тут же, немного в стороне, на той же лавке, лежит раскрытая книга, горят восковые свечи, перед книгой юродивый тычет по странице пальцем и спорит сам с собой.

– Сказывала окуню столетнему, взбудишь гостя! Ой, Степанушко, должно, опился ста- рик, и будто его огневица взяла – бредит... без ума стал...

– Пречистые? Московских!.. Нет, ино сие ложь – в книге, списанной у Кирилла прото- попом, вот «Дьявол наперед рассеивал свои клеветы, слагая сказы о ложных богах, рождаемых от жен!» – кричал юродивый, не обращая внимания на уговоры Ириньцы. Разин стал спешно одеваться.

– Куда ты, сокол? Ой, голубь-голубой, спи, покуда сумеречно, – яства налажу, да изопьем чего хмельного...

– И протопоп – ложь! В Кирилловой книге указано: «Сатана сам вселится в антихристам».

– Дедко, да перестань же... Ой ты, сокол, светлый мой, дай хоть глянуть еще в твои глаза, дай я все твои шадринки перецелую. Щемит сердце – спать не могу и будто назавсегда отпускаю тебя!

– Чай, увидимся. Не висни! Скоро надо мне вон из Москвы – душу она мою мятет... – И вышел, а за ним слышался слезливый голос Ириныцы:

– Ворон столетний, угнал мою радость!

9

Избегая тупых закоулков и видя через низкие дома кремлевские башни, Разин слободой пробирался к реке. Размахивая руками, ему навстречу брели по снегу люди; сзади шли двое в длиннополых шубах, длинные бороды в инее. Один спрашивал, другой хвастливо сообщал.

– Да нешто и ты бегал халдеем?

– Прытко бегал, покуда патриарх не спретил. А и много-таки я пожег плауном⁵⁶ бород человеческих, зато не один раз о крещеньи во льдах плавал⁵⁷.

– Не озорко? Лихоманки не хватил?

Слова стали непонятны – люди отстали или свернули куда. Сзади, стараясь обойти Разина, меся ногами снег, скользя и вывертывая сапогами, чтоб легче идти, шли трое, один на ходу кричал:

– Добры есть новгородски ременники, да мому заплечному не угодят – ни в жисть!

– А што?

– Вот! «Это-де не кнут, ежели я его в руке не восчувствую», да взял, робяты, приплел к кисти-то свинцу плашки...

– Ой, дьявол!

– И нынче, кто его поноровки не купит, – смерть!

– Ой ты?!

– Ей-бо! Дьяк удары чет – рот отворит за словом, а он р-р-а-аз! – и битой закатился – язык висит.

– Ой, пес!

– Жонок – так тех с полудара. Ну, те знают, шепчут: «Потом-де у бани свидимся!»

И ништо – мазнет гладко, кровь прыснет, а мясо цело...

Разин еще долго слышал выкрики:

– О!

– Н-ну?

– Вот дьявол!

На одном из перекрестков по колени в снегу стояли нищие богаделенские божедомы – старики, женщины в заплатанных кафтанах, в душегреях истрепанных, с чужого плеча. Они пели:

«От нашествия поганых чуждых языцей – помилуй! От полона погаными мудрых и сильных князей, бояр, воевод, купцов помилуй, господи!»

⁵⁶ Плаун – растение, пыльцу которого во время святочных шуток распыляли в воздухе и зажигали.

⁵⁷ На Святках рядились и изображали спешное действие. За это изображающие слуг Навуходоносора, вавилонского царя, должны были о крещенье купаться.

В синей однорядке, в меховой шапке пышнобородый купец в расшитых узорами валенках стоял перед воспевающими, хватал иршаными⁵⁸ рукавицами из корзины у мальчишки-подростка хлебы, раздавал нищим. Те кланялись, касаясь головами снега, тянули монотонно снова то же:

«Благоденствия великому государю, великому благоверному князю Алексею Михайловичу... воеводам, боярам, жилецким людям – пошли, всеблагий господи-и!..»

Разин, спускаясь по ступеням, вырубленным на снежном косогоре, думал: «Дожду ли когда, что тех, за кого молят, зачнут клясти?»

– Козак, удал молодец! Выручи ради бога – бьют! – кричал Разину человек, видом посадский, в коротком кафтанишке с распахнутым воротом грязной ситцевой рубахи. На жилистой шее посадского болтался медный крестик, на ногах без портянок – опорки, все лицо в крови.

– Кто бьет?

– Да не одного меня, удал человек, всех нас, посацких, обижают боярски холопи – с торга от возов отбили!

Разин спустился на лед, глянул в даль реки: у мясных рядов стояли осниманные, с обрубленными до колен ногами коровьи туши. У ларей рыбников хвостами вверх на тупых мордах, как точенные к боярским крыльцам столбы, прислонены крупные сомы. В снежном тумане двигалась около ларей толпа – пестрее была эта толпа там, где продавали шелк и ситец. Руслом реки шел несмолкаемый гул.

– Не лжешь ли? Кто бьет? – И увидел Разин отступающую от рыбных рядов толпу худо одетых людей. На них, желтея полушубками, напирала другая, в сапогах, в ушастых валеных шапках. Толпа в полушубках вооружена кольями.

– Лупи гольцов, робята-а! – От движенья людей в полушубках болтались наушники.

Разин, сбросив шубу, завернул рукава кафтана:

– Гей, голутьба! Стой...

Толпа отступающих остановилась.

– У нас ватаман! Стой!

Люди с кольями в руках загалдели:

– То не бой! Убойство!

– У козака сабля!

– Вишь пистоль, робяты!

– Не мочно козаку биться!

– А с кольем мочно?

– Киньте палочье – кину саблю!

– Ежели в кулаки отобьете, владайте возами!

– А ну давай, гольцы!

Покидали колье на лед.

– Эй, козак, мы колье кинули!

– Добро! – Разин шагнул к лежавшей шубе, отстегнул ремень с саблей, кинул пистолет на овчину. Толпа подчинилась ему, он выстроил ее, встал в голове толпы и крикнул:

– Ну, зачинай!

Две толпы плотно сошлись. Разин бил кулаками в грудь, и каждый, кто не увертывался от удара, отлетал и падал. Там, где шел он, лежали люди.

– Ага, дьявола! Веза наши и, по уговору, полушубки тоже.

– Сговор не ладной, пошто лишнего бойца приняли?! – кричали полушубки.

– В гуже свербит?!

⁵⁸ Замшевыми.

Разин прошел толпу в полушубках; кто лежал, кто бежал прочь, но враги между собой перемигивались. Разин, смекнув сговор, повернул в сторону шубы с оружием, а когда он повернул, сбив с ног встречного, что заслонял дорогу, раздался свист в кулак и в то же время над головою казака взвилась петля, захлестнула шею.

– Эге, дья-а...

Шагах в десяти в стороне из-под татарской шапки белели оскаленные зубы. Руки в кожаных рукавицах быстро мотали ременную бечеву. Не помня хорошо себя, но и не боясь, с удущьем в груди, Разин кинулся на блеск зубов, большими руками вцепился в жилистую шею врага, толчком груди свалил навзничь.

Татарское лицо под грудью Разина побагровело, раскосые глаза выпучились:

– Шайта... шайтан...

Хотя петля худо давала дышать, Разин двинул плечами – хрустнули кости, он завернул врагу шею с головой на спину.

– Тяпоголов⁵⁹, гляди, Юмашку кончил!

Скользнули по льду сапоги. Разин не успел защититься от хлесткого удара кистенем – удар потряс все его тело.

Река с ларями, с пестрой толпой, рыжей стеной Кремля, с пятнами золоченых кокошников на церквах закружилась и позеленела, только где-то далеко прыгали огоньки не то крестов на солнце, не то зажженных свечей. В ушах длительно зашумело...

10

В верхние окна пытошной башни веет сухим снегом. Огонь факелов мотается – по мутной белой стене прерывисто мечется тень человека, вздернутого на дыбу. Рубаха сорвана с плеч, серый кафтан лежит перед столом на полу. Поднятый на дыбу, скрипит зубами, изредка стонет. Палач только что продел меж связанных ремнем ног бревно, давит на бревно поленом, глядит вверх, чтоб хрустнувшие, вышедшие из предплечья руки пытаемого не оторвались. Колокольный звон закинуло в башню ветром.

Киврин за столом, крестясь, сказал:

– Всеношна отошла, должно, по ком церковном панафиду поют? Звонец у Ивана нынче худой, ишь жидко брякает!

У дверей на скамьях, как всегда, два дьяка: один в синем, другой в красном кафтане. Дьяк в красном ответил:

– То, боярин, в Архангельском соборе звон!

– То-то звон жидкой! Ну, Иваныч, с богом приступим!

– Приступим, боярин, – ответил дворянин.

– Заплечный, бей! Дьяки, пиши!

Ж-жа-х! – хлестнул кнут, еще и еще.

– Полно! Пять ударов, – счел дьяк.

Из-за стола мертвый голос Киврина спросил:

– Замышлял ли ты, вор, Иван Разя, противу воеводы Юрия Олексиевича Долгорукова? А коли замышлял противу посланного в войну государем-царем полководца, то я противу великого государя замышлял ли?

– Противу всех утеснителей казацкой вольности, противу воевод, бояр, голов и приказных замышлял! – прерывающимся голосом, но твердо ответил с дыбы бородатый курчавый казак.

⁵⁹ Головотяп – от «тяпнуть по голове», разбойник.

– Пишите, дьяки! Сносился ли ты, вор, со псковским стрельцом Иевкой Козой и прочими ворами, кто чернил имя государя, великого князя всея Руси, и лалял похабными словами свейскую величество королеву?

– Жалость многая берет меня, что не ведал того, не мог к тому доспеть, – сносился бы...

– И еще что мошьшь?

– Сносился бы со всеми, кто встал за голодный народ противу обидчиков, что сидят на Руси худче злых татар. Пошел бы с теми, кто идет на бояр и воевод-утеснителей...

– Прибавь, заплочный, кнута вору – пушай все скажет!

Ж-жа-а! – желтая спина битого все больше багровеет.

– Полно! Всего сочтено двадцать боев, – говорит дьяк.

Мертвый голос из-за стола:

– Кого еще, вор, назовешь пособником бунта, заводчиком?.. Не сносился ли с шарпальниками, что пришли со Пскова и на реке Луге, под Ивангородом, громили судно аглицкого посла? А еще скажи тех, кто живет в дьявольском злоумышлении противу великого государя?

Пытаемый не отвечал.

В нише башни, где до пытки стояло подножное бревно палача, под ворохом рогож блестя на каблуках больших сапог подковы. Сапоги зашевелились, застучали колодки, из рогож высунулась черная голова с окровавленным лицом. Покрывая ветер и звон колокольный, раздался голос:

– Брат Иван, жив буду – твоя кровь трижды отольется!

– Стенько, злее пытки знать, что и ты хватан!

– Очкнулся? – Киврин показал желтые зубы улыбкой. Волчьи глаза метнулись на рогожи: – Жаль, не приспело время, ино двух бы воров тянуть разом!

– А пошто, боярин, не можно?

– Вишь, не можно, Иваныч: к Морозову не был, а надо ему довести, что заводчик солейного бунта взят и приведен.

– Да неужто быть он должен не у нас, у Квашнина?

– Морозову надобно довести, Иваныч! Ну, заплочный, внуши пытошному правду.

Снова бой кнутом. Первый кнут брошен. Помощник палача подал новый. Заплочный тяжелой тушей, отодвигая назад массивные локти в крови, топыря широкою спину в желтой кожаной куртке, налег на бревно, всунутое меж ног пытаемого, – трещат кости...

– Хребет трещит, а все упорствуешь? Сказывай, вор, пособников, заводчиков, супостатов государя!

Подвешенный кричит из последних сил:

– Дьявол! Все сказал...

– Заплочный, должно, с поноровкой твой кнут? Подкинь-ка огню, огонь – дело правильное.

Помощник палача накидал дров на железный заслон под дыбой. Палач вынул давящее книзу бревно. Густой дым скрыл от глаз дьяков и боярина пытаемого. Пламя загорелось, стало лизать ноги казака. Пытаемый стонал, скрипел зубами шибче и шибче, потом зубы начали стучать, как в сильной лихорадке. Шлепая рукой в иршаной рукавице о стол, Киврин, воззрясь на пытку, шутил:

– Оттого и мужик преет, что государева шуба ладно греет. Заплочный, кинь в огонь клещи – побелеют, срежь ему тайный уд, да и ребра ломать придетца!

На огне зашипели брызги крови...

Палач сказал:

– У пытошного, боярин, нижним проходом бьет кровь!

– Ослабь дыбу, мастер! Отдох дай... Изведетца скоро, не все скажет. Ты крепко на бревно лег – порвал черева, ну и то – не на пир его сюды звали. Да вот, дьяки, был ли поп ему дан, когда вели?

Встал дьяк в синем кафтане:

– Боярин, когда пытошного ввели во Фролову, поп к ему подходил, да пытошный, Иван Разя, лаял попа, и поп ушел!

– Ну, не надо попа, без попа обойдется!

Пытаемый снят с дыбы, лицо черное; шатаясь на обожженных ногах, с трудом открывая глаза, слабым голосом сказал, как слепой поводя и склоняя голову не в ту сторону, где под рогожами лежал Разин второй:

– Стенько! Брат! У гроба стою, упомни меня...

– Не забуду, Иван, прости!

Киврин, сбросив на стол рыжий колпак, крикнул, скаля редкие зубы:

– И Стеньку честь окажем не мене! Стрельцы, отведите другого рядом – опяльте в кольца.

Захватив факел, четверо стрельцов отвели Степана Разина в пустое, рядом с пытошной, отделение башни, сбили с рук колодки. Из-под кровавых бровей Разин вскинул глаза на стрельцов:

– Всем, кто пес боярский, заплачу щедро!

Стрельцы распяли руки Разину по стене, вдели их в железные кольца, на шею застегнули на цепи ременное ожерелье с гвоздями.

– Сказывали – удал лунь, да птицы вольной ему не клевать!

Из головы от удара кистенем все еще сочилась кровь, пачкала лицо, склеивала глаза.

– Тряпицу ба, что ль, кинуть на голову – ведь человек? – сказал один стрелец с цветным лоскутом на бараньей шапке.

Другой сказал начальнически:

– До пытки выживет, а дале – боярин!

– Живучи эти черкасы, – прибавил третий.

Четвертый стрелец с факелом молчал. Со стены текло, от холода каменела спина. Вися на стене, упираясь ногами в каменный пол, Разин метался, пробуя сорваться, и выдернул бы из стены крючья с кольцами, да на большой от ременной петли шее вновь была крепкая, хотя и нетугая, петля – она при каждом движении головы колола гвоздями. Каменные толстые стойки без дверей мешали ему увидеть, что делали палачи с братом. Лишь слышал Степан, как шипело от каленых щипцов, пахло горелым мясом, слышал треск костей и понимал, что ломают ребра Ивану. Слышал стоны и вопрошающий мертвый голос:

– Скажешь ли, вор, пособников?

– Скажу одно... умираю...

– Тако все! Заплечный, нажги кончар, боди черева. Пишите, дьяки:

«Вор, Ивашко Разя, клял воевод, бояр и грозился новым бунтом, в пытке был упорен, заводчиков сказать не хотел и, пытанный накрепко, пытки не снес».

– Верши, заплечный! Вот ту – жги...

Раздался протяжный стон. Прикованный к стене Разин слышал, как загремело железо заслона и грузное скользнуло под пол.

– Стрельцы, мост спустить! Кончим, помолясь Богу. Устал я, да и за полночь буде... – И тот же мертвый голос продолжал: – Заплечный, бери кафтан: одежда казненного завсегда палачу, не от нас иде...

– Рухледь, не стоит того, боярин, чтобы с полу здымать!

– Богат стал? Ну, твой помощник не побрезгает, заберет. Тушите огни.

11

Полная мыслями о госте, что утром рано покинул ночлег, Ириньца, качая люльку, пела:

Разлучили тебя, дитяtko,
Со родимой горькой матушкой,
Баю, баю, мое дитяtko!
Во леса, леса дремучие
Угонили родна батюшку...
Баю, баю, мое дитяtko!
Вырастай же, мое дитяtko,
В одинокой крепкой младости.
Баю, баю, мое дитяtko!
У тебя ль да на дворе стоит
Новый терем одиныхонек —
Баю, баю, мое дитяtko!

За дверями шаркнуло мерзлой обувью, звякнуло железо; горбун, убого передвигаясь, спустился в горенку.

– И песню же подобрала, Ириxa...

– Не ладно поется, дедко?.. На сердце тоска. – И запела другую:

Ох ты, котенька, коток,
Кудревастенский лобок!
Ай, повадился коток
Во боярский теремок.
Ладят котика словить,
Пестры лапки изломить!

– Вишь, убогой, эта веселее?

Горбун снял с себя шубное отрепье, кинул за лежанку, снял и нахолонувшее железо. Бормотал громко:

– Пропало наше, коли народ правду молыт... Помру, не увижу беды над боярами, обидчиками... худо-о...

– Что худо, ворон?

– Да боюсь, Ириxa, что нашего котика бояры словили...

– Опять худое каркаешь?

– Слышал на торгу да коло кремлевских стен.

Ириньца кинулась к старику, схватила за плечи, шепотом спросила:

– Что, что слышал? Сказывай!

– Ишь загорелась! Ишь пыхнула! Дела не сделаешь, а, гляди, опять в землю сядешь, как с Максимом мужем-то буде. Не гнети плечи...

– Удавлю юрода – не томи! Максим, не вечером помянуть, кишка гузенная, злая был. Что же чул?

– Чул вот: народ молыт – гостя Степана привезли к Фроловой на санях, голова пробита... Стрельцы народ отогнали, а его-де во Фролову уволокли.

– Не облыжно? Он ли то, дедко?

– Боюсь, что он. На Москве в кулашном бою хвачен... «Тот-де, что в соляном отаман был, козак»...

– В Разбойной – к боярину Киврину?

– Куды еще? К ему, сатане!

Ириньца заторопилась одеваться, руки дрожали, голова кружилась – хватала вещи, бросала и вновь брала. Но оделась во все лучшее: надела голубой шелковый сарафан на широких низанных бисером ляшках, рубаху белого шелка с короткими по локоть рукавами, на волосы рефить⁶⁰, низанную окатистым жемчугом, плат шелковый, душегрею на лисьем меху. Достала из сундука шапку кунью с жемчужными кисточками.

– Иссохла бы гортань моя... Ну куды ты, бессамыга⁶¹, с сокровищем идешь?

– В Разбойную иду!

– Волку в дышало? Он тя припекет, зубами забрякаешь...

– Не жаль жисти!

– Того жаль, а этого не?

Ириньца упала на лавку и закричала слезно:

– Дедко, не жги меня словом! Жаль, ох, спит, не можно его будить, а разум мутится.

– Живу спустят – твоя планида, а ежели, как мою покойную, на козле? Памятуй, пустая голова с большим волосьем!..

– Дедо, назри малого... Бери деньги из-под головашника... корми, мой чаще, не обрости Васютку...

– Денег хватит без твоих. Ой, баба! Сама затлешь и нас сожгешь...

12

Спешно вошла по каменной лестнице, пахло мятой, и душно было от пара. На площадке с низкой двустворчатой дверью в глубине полукруглой арки встретил Ириньцу русобородый с красивым лицом дьяк в красном кафтане, в руке дьяка свеча в медном подсвечнике:

– Пошто ты, жонка?

– Ой, голубь, мне бы до боярина.

– Пошто тебе боярин?

Дьяк отворил дверь. Ириньца вошла за ним в переднюю светлицу боярина. Белые стены, сводчатые на столбах; столбы и своды расписные. По стенам на длинных лавках стеганые красные бумажники⁶², кое-где подушки в пестрых наволочках, в двух углах образа. Сверкая рефитю, жемчугами, поклонилась дьяку в пояс:

– По Разбойному, голубь, тут, сказывают, иман молодой казак – лицо в шадринах, высокий, кудреватый...

– Пошто тебе лихой человек?

– Ой, голубь! Сказывают, голова у него пробита, а безвинной, и за что?

– Знаешь боярина, жонка, – на кровь он крепок... Битье твое челом не к месту – подика в обрат, покудова решетки в городу полы. Жалеючи тебе сказываю... больно приглянулась ты мне.

Ириньца кинулась в ноги дьяку. Дьяк поставил свечу на пол, поднял ее, она бросилась ему на шею.

– Голубь, что хошь проси! Только уласти боярина...

⁶⁰ Рефить – сетка.

⁶¹ Голая.

⁶² Бумажник – матрац, набитый хлопчатой бумагой.

– Перестань! – сказал дьяк, отводя с шеи ее руки. – Глянет кто – беда, а любить мне тебя охота... Сказывай, где живешь?

– Живу, голубь, за Стрелецкой, на горелой поляне, за тыном изба, в снегу...

– Приду... а ты утекай, не кажись боярину, не выпустит целу, пасись, – шептал дьяк и гладил Ириньце плечи, заглядывая в глаза. – И где такая уродилась? Много баб видал, да не таких.

– Скажи, голубь, правду – уловлен казак?

– Знай... не можно о том сказывать... уловлен... Степан? Разя?

– Он, голубь! Пусти к боярину, горит сердце...

– Не ходи – жди его, он в бане...

– Не могу, голубь мой! Пусти, скажи, где?

Дьяк махнул рукой, поднял свечу с пола.

– С ума, должно, тебя стряхнуло? Поди, баня ту – вниз под лестницей... Завернешь к левому локтю, дойдешь до первой дверки – толкнись, там предбанник... Ой ты, малоумная баба!

Ириньца, бросив в светлице душегрею, шапку, сбежала по лестнице, нашла дверь. На полках предбанника горели свечи в медных шандалах. На широкой гладкой лавке лежали зеленый бархатный полукафтан и розовая мурmolка с узорами.

Из бани мертвый голос выкрикнул:

– Тишка, где девки? Эй!

Ириньца приоткрыла дверь, заглянула в баню – на полке желтело угловато-костлявое что-то с кривыми тонкими пальцами ног. От фонаря, висевшего на стене, блестел голый череп.

«Все одно, что покойника омыть», – почему-то мелькнуло в голове Ириньцы; она ответила:

– Что потребно боярину – я сполню!

– Э, кто ту? Сатана! Да мне и девок не надо – лезь, жонка, умой старика... утри!

Ириньца быстро разделась до рубашки, не снимая сетки с волос, встав на колени на ступеньку полка, привалилась грудью к желтому боку.

– Мочаль... мочаль! Разотри уды мои... Э-эх, и светлая!.. Дух от тебя слаще мяты! Откуда ты, жено? Ой, спасибо...

В предбаннике завозились шаги.

Боярин крикнул:

– Тишка, не надо никого – один управлюсь!

– Добро, боярин! – Шаги удалились.

– Скинь рубаху, жонка!

Ириньца сняла отсыревшую от пота рубаху, снова намылила мочалку, а когда нагнулась над стариком, он впился тупыми зубами в ее правую грудь.

– Ой, боярин, страшно мне!

– Чего страшишься? Не помру. Робя кормишь? Молоко...

– Большой уж, мало кормлю.

Холодные руки хватили горячее тело.

– Черт, сатана, оборотень! – бормотал старик, и лысая голова с пеной у рта билась о доски полка. Ириньца подsunула руки, отвернула лицо – голова перестала стучать, билась о мягкое тело. – Добро! Убьюсь, поди... не тебе... мне страшно – мертвый хочу любить!.. Прошло время... время... Укройся – не могу видеть тебя! Боюсь... кончусь – тебя тогда усудят...

Подхватив с полу рубаху, Ириньца ушла из душного мятного пара в предбанник, оделась и ждала. Боярин слез с полка. Она помогла войти в предбанник. Заботливо обтерла ему тело рушником, бойко одевала. Он кашлял и тяжело дышал. Шел, обхватив ее талию рукой, говорил тихо, с удушьем:

– Сердце заходитца! Должно, скоро черту блины пекчи.

Она привела его в светлицу, подвела к лавке, положила головой на подушку, закинула на бумажник ноги, покрыла его ноги своей душегреей. Боярин дремал, она сидела в ногах, очнулся – попросил квасу. Дьяк в красном кафтане стоял с опущенной головой, прислонясь спиной к стойке дверей. По слову боярина сходил куда-то, принес серебряный ковш с квасом; боярин отпил добрую половину, рыгнул и, передавая ковш дьяку, сказал:

– Дай ей – трудилась! Эх, Ефимко, кабы моложе был, не спустил бы: диамант – не баба.

Дьяк молча поклонился.

Боярин спросил:

– Что хмурой, спать хошь?

– Недужится, боярин, чтой-то...

Ириньца глотнула квасу – отдала ковш.

– Поди спи, мы ту рассудим, что почем на торгу.

Дьяк ушел.

– Ну-ка, жемчужина окатистая, сказывай, пошто пришла? Не упокойннков же обмывать, поди, свой кто у нас, за ним?

Ириньца сорвалась с лавки, кинулась на колени:

– Низко и слезно бью тебе, боярин, челом за казака, что нынче в Разбойной взят... Степаном...

– А! – Боярин сел на бумажнике и скорее, чем можно было ожидать, спустил ноги на пол. На мертвом лице увидела Ириньца, как зажглись волчьи глаза. – Разя? Степан?

– Он, боярин!

– Кто довел тебе, что он у нас, – дьяк?

– Народ, боярин, молыт, по слуху пришла к тебе...

– Ты с Разей в любви жила?

– Мало жила, боярин!

– Тако все? А ведомо тебе, жонка, что оный воровской козак и брат его стали противу Бога?

– То неведомо мне, боярин!

– Сядь и сказывай правду. Ведомо ли тебе, что Степан Разя был отаманом в солейном бунте?

Ириньца, склонив голову, помолчала, почувствовала, как лицо загорелось.

– Знаю теперь – ведомо!

– То прошло, боярин!

– Подвинься! – Боярин снова лег, протянул ноги, глядя ей в лицо, заговорил: – Был сатана, жонка, и оный сатана спорил с Богом... А тако: сатану Бог сверзил с небеси в геенну и приковал чепью в огонь вечный. Кто противу государя-царя, помазанника Божия, тот против Бога. Рази, весь их корень воровской, пошли против великого государя, и за то ввергли их, как бог сатану, в огонь... Ты же, прилепясь телом к сатане, мыслишь ли спастись? Да еще дерзновение поймала прийти молиться за сатану? То-то ласковая да масляная, как луковица на сковороде. Ну што ж! Ложись спать, а я ночью подумаю, что почем на торгу... Эй, Ефимко, дьяк!

На голос боярина вышел из другой половины светлицы русский дьяк.

– Сведи жонку в горенку, ту, что в перерубе! Завтра ей смотрины наладим... В бане была, да худо парилась...

– Мне бы к дому, боярин! А я ранехонько бы пришла.

– Хошь, чтоб по дороге лихие люди под мост сволокли да без головы оставили? Мы тебе голову оставим на месте... По ребенку нутро ноет? Ребенок от Рази?

– Да, боярин!

– Дьяк, уведи ее!

Дьяк сурово сказал:

– Пойдем-ка, баба!

Дьяк был в красном, шел впереди, широко шагая, держа свечу перед собой. Ириньца подумала:

«Как палач».

В узкой однооконной горнице стояла кровать, в углу образ – тонкая свеча горела у образа.

– Спи тут!

Дьяк поставил свечу на стол и, уходя, у двери оглянулся. Поблескивали на плечах концы русых волос. Глаз не видно. Сказал тихо:

– Пала на глаза – уйдешь ли жива, не ведаю... Сказывал...

– О, голубь, все стерплю!

Дьяк ушел. Ириньца зачем-то схватила свечу, подошла к окну: окно узкое, слюдяное, в каменной нише, на окне узорчатая решетка, окно закрыто снаружи ставнем. В изогнутой слюде отразилось ее лицо – широкое и безобразное, будто изуродованное.

– Ой, беда! Лихо мое! Васенька, прости... А как тот, Степанушка, жив ли?.. Беда!

Потушила свечу, стала молиться и к утру заснула, на полу лежа.

13

Снилось Ириньце, кто-то поет песню... знакомую, старинную:

Ей немного спалось,
Много виделось...
Милый с горенки во горенку
Похаживает!

И тут же слышала – гремят железные засовы, с дверей будто кто снимает замки, царапает ключом, а по ее телу ползают черви. Ириньца их сталкивает руками, а руки липнут, черви не снимаются, ползут по телу, добираются до глаз. Проснулась – лежит на спине. Перед ней стоит со слюдяным фонарем в руках, в черной нараспашку однорядке боярин в высоком рыжем колпаке. Волчьи глаза глядят на нее:

– А ну, молодка, пойдем на смотрины...

Ириньца вскочила, поклонилась боярину, отряхнулась, пошла за ним. Шли переходами вдоль стенных коридоров, вышли во Фролову башню. В круглой сырой башне в шубах, с бердышами, с факелами ждали караульные стрельцы.

– Мост как?

– Спущен, боярин!

Киврин отдал фонарь со свечой стрельцам.

Пришли в пытошную. В башне на скамье у входной двери один дьяк в красном. Ириньца поклонилась дьяку. Дьяк встал при входе боярина и сел, когда боярин сел за стол. В пытошную пришли два караульных стрельца – встали под сводами при входе.

– Стрельцы, – сказал Киврин, – впустить в башню одного только заплечного Кирюху!

– Сполним, боярин.

– Дьяк, возьми огню, проводи жонку к лихому...

– Слышу, боярин.

Дьяк снял со стены факел, повел Ириньцу.

Боярин приказал стрельцам:

– Сдвигайте, робята, дыбные ремни на сторону, под дыбой накладите огню.

Боярин вышел из-за стола, кинув на стол колпак, подошел к пытошным вещам, выбрал большие клещи, сунул в огонь.

Один из стрельцов принес дров, другой бердышем наколол, разжег огонь на железе. Рядом, в пустом отделении башни, взывала голосом Ириньца:

– Сокол мой, голубой, как они истомили, изранили тебя, окаянные, – в чеши, в ожерелок нарядили, быдто зверя-а?!

Боярин пошел на голос Ириньца, встал в дверях, упер руки в бока. От пылающего высокого огня под черной однорядкой поблескивали зеленые задники сапог боярина.

Ириньца шелковым платком обтирала окровавленное лицо Разина.

Сонным голосом Разин сказал:

– Пошто оказала себя? На радость черту!

– Степанушко, сокол, не могу я – болит сердечко по тебе, ой болит! Пойду к боярину Морозову, ударю челом на мучителей...

– Морозову? Тому, что в солейном бунте бежал от народа? Не жди добра!

– К патриарху! К самому, государю-царю пойду... Буду просить, молить, плакать!

– Забудь меня... Ивана убили... брата... мне конец здесь... вон тот мертвой сатана!

Разин поднял глаза на Киврина. Боярин стоял на прежнем месте, под черным зеленел кафтан, рыжий блик огня плясал на его гладком черепе.

Ириньца, всхлипывая, кинулась на шею Разину, кололась, не замечая, о гвозди ошейника, кровь текла по ее рукам и груди.

– Уйди! Не зори сердца... Одервенел я в холоде – не чую тебя...

– Ну, жонка, панафида спета – пойдём-ка поминальное стряпать... Дьяк, веди ее...

Ефим отвел Ириньцу от Разина, толкнул в пытошную.

– Поставь огонь! Подержи ей руки, чтоб змеенышей не питала на государеву-цареву голову...

Ириньца худо помнила, что делали с ней. Дьяк поставил факел на стену, скинул кафтан, повернулся к ней спиной, руками крепко схватил за руки, придвинулся к огню – она почти висела на широкой горячей спине дьяка.

– А-а-а-ай! – закричала она безумным голосом, перед глазами брызнуло молоко и зашипело на каленых щипцах.

– О-о-ой! Ба-а... – Снова брызнуло молоко, и вторая грудь, выщипнутая каленым железом, упала на пол.

– Утопнешь в крови, сатана! – загремел голос в пустом отделении башни.

Впереди стрельцов, у входа в пытошную, прислонясь спиной к косяку свода, стоял широкоплечий парень с рыжим пухом на глуповатом лице. Парень скалил крупные зубы, бычьи глаза весело следили за руками боярина. Парень в кожаном фартуке, крепкие в синих жилах руки, голые до плеч, наполовину всунуты под фартук, руки от нетерпения двигались, моталась большая голова в черном, низком колпаке.

– Боярин, сто лет те жить! Крепок ты еще рукой и глазом – у экой бабы груди снял, как у сучки...

Киврин, стаскивая кожаные палачовые рукавицы, вешая их на рукоятку кончара, воткнутого в бревно, сказал:

– У палача седни хлеба кус отломил! Ладно ли работаю, Кирюха?

– Эх, и ладно, боярин!

Ириньца лежала перед столом на полу в глубоком обмороке – вместо груди у ней были рваные черные пятна, текла обильно кровь.

– Выгрызть – худо, выжечь – ништо! Ефимко, сполосни ее водой...

Дьяк, не надевая кафтана, в ситцевой рубахе, по белому зеленым горошком, принес ведро воды, окатил Ириньцу с головой. Она очнулась, села на полу и тихо выла, как от зубной боли.

– Ну, Кирюха! Твой черед: разрой огонь, наладь дыбу.

Палач шагнул к огню, поднял железную дверь, столкнул головы под пол.

Дьяк кинулся к столу, когда боярин сел, уперся дрожащими руками в стол и, дико вращая глазами, закричал со слезами в голосе:

– Боярин, знай! Ежели жонку еще тронешь – решусь! Вот тебе мать пресвятая... – Дьяк истоиво закрестился.

– Да ты с разумом, парень, склался? Ты закону не знаешь? Она воровская потаскуха – видал? Вору становщицей была, а становщиков пытаются худче воров. Спустим ее – самих нас на дыбу надо!

– Пускай – кто она есть! Сделаю над собой, как сказываю...

– Ой, добра не видишь! Учил, усыновил тебя, в государевы дьяки веду. Един я – умру, богатство тебе...

– Не тронь жонку! Или не надо мне ни чести, ни богатств...

Киврин сказал палачу:

– Ну, Кирюха, не судьба... не владать тебе бабиным сарафаном. Подь во Фролову – жди, позову! Ладил в могильщики, а, гляди, угожу в посаженные...

Палач ушел.

– Ефимко, уж коли она тебе столь жалостна, поди скоро в мою ложницу – на столе лист, Сенька-дьяк ночью писал. Подери тот лист, кинь! Ладил я, ее отпотчевавши, Ивашке Квашнину сдать да сыск у ей учинить – не буду... Купи на груди кизылбашски чашечки на цепочках и любись. Оботри ей волосья да закрой голову. Ну, пушай... так... Стрельцы, оденется – уведите жонку за Москву-реку, там сама доберется.

14

Серебристая борода кольцами. По голубому кафтану рассыпаны белые волосы, концы их, извиваясь, поблескивают, гордые глаза неторопливо переходят со страницы на страницу немецкой тетради с кунштами, медленно на перевернутых больших листах мелькают раскрашенные звери и птицы: барсы, слоны, попугаи и павлины.

С поклоном вошел в светлицу стройный светловолосый слуга в белом парчовом в обтяжку кафтане, еще раз поклонился и положил перед боярином записку; мягко, быстро пятясь, отодвинулся. Боярин поднял глаза, оглянулся:

– Имянины празднуешь, холоп?

– Нет, боярин.

– Тогда пошто ты, как кочет, украшен?

Слуга оглянул себя:

– Дворецкий велит рядиться, боярин.

– Кликни дворецкого – иди!

Слуга на вздрагивающих ногах беззвучно удалился. Боярин, взяв записку, читал:

«А зеркалу, боярин и господин Борис Иванович, в ободу серебряном цена двадцать рублей, лагалищу к ему на червчатом бархате гладком цена пять рублей. К ободу вверху и книзу два лала правлены, добре красных и ровных цветом, по сто пятьдесят рублей лал. Те лалы правлены по хотению твоему, а устроены лалы в репьях серебряных. Зеркало же не гораздо чисто, стекло косит мало, да веницейского привозу нынче надтить не можно, а новгородской худ...»

Вошел дворецкий, сгибая старую спину углом, поклонился.

– Пошто, Севастьян, велишь рядиться молодым робятам в парчу? Прикажи всем им сменить обряд на простой нанковый...

– Слышу, боярин.

– Тебе рядиться надо – ты стар, платье будет красить тело, им же не к месту – волосы светлы, вьются; лицо, глаза огневые, тело дородно...

– Сполню, боярин, по слову.

– А еще вот! – Боярин мягким кулаком слегка стукнул по записке. – Кузнец серебряной, вишь, реестр послал, у немчина учен, а гадит. Здесь ли он, тот кузнец?

– Ту, боярин, в людской ждет.

– Иди и шли сюда.

Дворецкий ушел, а боярин, разглядывая картины, думал:

«Ладно немчины красят зверя, птицу, а вот парсуны⁶³ делать итальянцы более сподручны, и знатные есть мастера...»

Робко вошел серебряник в высоких сапогах, в длиннополом черном кафтане тонкого сукна, длиннородый, степенный, с затаенным испугом в глазах, по масляным, в скобу, волосам ремешок.

Пока он молился, боярин молчал. Помолвившись, прижался к двери, поклонился.

Продолжая рассматривать рисунки, боярин спросил:

– Кто писал реестру, холоп?

– Сынок, боярин, мой сынок, у пономаря обучен Николо-Лесковской церкви.

– Рама к стеклу тобой самим лажена?

– Самим мной, боярин!

– Хорошая работа! А зеркало пошто ставил такое?

– Ведаю, боярин, – косит стекло, да ноги избил, искал, и нет ладных... Ужотко венеицы аль немчины...

Боярин поднял голову, глаза смутили мастера, он снова поклонился.

– Бери свое дело в обрат! Сам ведаешь пошто – рожу воротит... Мне же его в дар дарить. Или, ты думаешь, твоей работой я захну смеяться над тем, кому дарю... В ем не лицо – морда, как у заморской карлы, дурки, что шутные потехи потешает. Оставь оное стекло себе, басись по праздникам, когда во хмелю будешь, иди!

Серебряник еще раз поклонился, попятился и задом открыл дверь. Боярин прибавил:

– Малого, что реестру писал, пришли ко мне, учить надо – будет толк, подрастет, в подьячие устрою...

– Много благодарю, боярин!

– А в стекло глядись сам – сыщешь ладное, вправь и подай мне...

Вошел дворецкий:

– Боярин, в возке к тебе жалует на двор начальник Разбойного приказа.

– Пришли и проводи сюда! Волк на двор – собак в подворотню.

Боярин отодвинул тетрадь, прислушался к шагам, повернулся на бархатной скамье лицом к двери. Гость, стуча посохом, вошел, поблескивая лысиной долго молился в угол иконостасу; помолясь, поклонился:

– Челом бью! Поздорову ли живет думной государев боярин Борис Иванович?

– Спасибо! Честь и место, боярин, за столом.

Киврин сел, оглядывая стены, расписной потолок и ковры на широких лавках, проговорил вкрадчиво:

– Добра, богатства несметно у хозяина, а чести-почести от великого государя ему и неведомо сколь!

– Дворецкий, принеси-ка угостить гостя; чай, утомился, немолод есть.

– Живу, хожу – наше дело, боярин, трудиться, не жалобиться. Все мы холопн великого государя, а что уставать зачал, то не дела мают – годы...

⁶³ Парсуны – портреты.

– Так, боярин, так...

Дворецкий внес на золоченом большом подносе братину с вином, чарки и закуски.

– Отведай, боярин, фряжского, да нынче я от свейских купчин в дар имал бочку вина за то, что наладил им торг в Новугороде. Вот ежели сговорны будем да во вкус попадем, можно тот дар почать.

– Ой, боярин Борис Иванович, нешто я жаден до пития? Мне нынче чару, другу – и аминь. С малого хмелен – сердце заходится, да язык зачинает плести неподобное... Так во здравие твое, Борис свет Иванович!

– И в твое, Пафнутий Васильевич! Много тебе лет быть в работе, править воровскими делы...

– И еще коли – во здравие думново государева и ближняя боярина, а тако: позвоним-ка чашами... Надобе дело перво мне – упьюсь, забуду.

– Что же боярина подвигло сюды ехать?

– От дел редок, боярин! А то бы век за твоим столом сидел старый бражник... Великое дело, Борис Иванович... Уж и не знаю, как начать, чем кончить! С моста кидаешься, метишь головой вглубь, а в кокорину, гляди, попадешь... Вишь, боярин, взят мной в Разбойной шарпальник, отаман солейного бунта Стенька Разя, так пришел я довести тебе, Борис Иванович, – по чину, как и полагается, без твоего слова не вершить, – что пытку над ним зачну скоро, отписку же по делу великому госу-дарю-царю вам дословную после пытки.

Глаза Киврина, разгораясь, уперлись в лицо боярина. Киврин продолжал:

– Сумеречный стал пошто, боярин? Или обида какая есте в словах моих – обидеть тебя не мыслю...

– Говори, боярин, – я думаю только по-иному.

– Что же думает боярин?

– Ведь с Дону почетно он к нам прислан, и не рядовым казаком, но есаулом. Справ станице выдали, к государю на очи припустили, и не ведал я до тебя, боярин, пошто станичники медлят, не едут в обрат, а это они своего дожидаются, ищут по Москве.

– Станишники – люди малые, боярин! Разбойника упустить не можно, не дать же ему вдругоряд зорить Москву, чинить дурно именитым людям!

– То правда твоя, боярин! У них же своя правда – станицу послало Великое войско донское.

– Да уж коли неведомо боярину, я скажу, а тако: будучи в Черкасском, сговорил отамана Корнейку Яковлева...

– Корниту, боярин.

– Так и эдак кличут его... Сговорил, что пошлет он в станице заводчика. Что возьмем заводчика, то ему, отаману, ведомо и желанно, да и прочим козакам матерым Разя в укор и поношение живет, и весь его корень тоже. И дивлюсь я много на тебя, Борис Иванович: ты идешь в заступ разбойнику, а он пуще всех тебя зорил в солейном бунте!..

– То прошло, боярин. Дворецкого старика убили – жаль...

– Ой, не прошло, Борис Иванович! Разбойник, шарпальник есть, кем был. Бабр весной вылинял, да зубы целы.

– Пьем, Пафнутий Васильевич! Добрее станешь.

– А нет, боярин, договоримся, что почем на торгу – тогда...

– Что почем? Ну, так ведай!

Лицо Морозова стало красным, гордые глаза метнули по стенам, он подвинулся на скамье, заговорил упрямым голосом:

– Иман оный заводчик Разя ведь твоими истцами?

– Что верно, боярин, то истинно! Ладного человека разбойник у меня погубил, и не одного. Силач был татарин, крепок и жиловат, а Разя, окаянный, задавил истца в бою на Москве... Как только удалось ему?

– Прав, что задавил!

– Вот дивно, боярин! Разбойники зачнут избивать служилых людей, а бояре клескать в ладони да кричать: го-го-го!

– Пущай незаконно не лезут служилые. Дано было знать о том отамане соленного бунта Квашнину Ивану Петровичу, и мы, боярин, с Квашниным судили – как быть? Квашнину я верю – знает он законы, хоть бражник. А судили мы вот: «Ладно ли взять, когда он в станице? Да взять, так можно ждать худшего бунта на Дону!..» Квашнин же указал: «Холопы, что дурно чинили на Москве и сбегли в казаки, не судимы, ежели на Москву казаками вернутся». То самое и с шарпальником: не уловили тогда, теперь ловить – дело незаконное!.. Ты же, боярин, – прости мое прямое слово – сделал все наспех и незаконно.

– Пока мы думали, он бы утек, боярин! Беззакония тоже нет, великому государю-царю я с Дона в листе все обсказал...

– Грамоту твою, боярин, еще обсудить надобно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.